



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

ЖУРНАЛЪ
МИНИСТЕРСТВА
НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

СЕДЬМОЕ ДЕСЯТИЛѢТІЕ
ЧАСТЬ СССХХХІV.

1902.

НОЯВРЬ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФІЯ.
1902.

СОДЕРЖАНІЕ.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

I. Высочайшія повелѣнія	3
II. Высочайшіе приказы по вѣдомству мин. нар. пр.	4
III. Высочайшія награды по вѣдомству мин. нар. просв.	11
IV. Комиссія по преобразованію высшихъ учебныхъ заведеній	12
V. Циркуляры министерства народнаго просвѣщенія	22
VI. Положенія о стипендіяхъ и преміяхъ при заведеніяхъ министерства народнаго просвѣщенія	24
VII. Опредѣленія ученаго комитета мин. нар. пр.	31
VIII. Опредѣленія особаго отдѣла ученаго комитета мин. нар. пр. . . .	39
IX. Опредѣленія отдѣленія ученаго комитета мин. нар. пр. по техническому и профессиональному образованію	47
Открытіе училищъ	48
M. Г. Понруженко. Очерки по исторіи возрожденія болгарскаго народа	1
Л. З. Мсеріанцъ. Армянскіе источники о смутномъ времени	35
Я. А. Автамоновъ. Символика растений	46
Д. Н. Егоровъ. Этюды о Карлѣ Великомъ	102

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ.

А. Л. Погодинъ. Запѣтки о методѣ этнографіи	131
А. Ф. Эрманъ. <i>В. Н. Модестовъ. Введеніе въ римскую исторію. Часть первая. С.-Пб. 1902</i>	159
Э. Р. фонъ-Штернъ. <i>М. Мандесъ. Опытъ историко-критическаго комментарія къ греческой исторіи Діодора. Одесса 1901.</i>	198
С. А. Алексѣевъ. <i>Т. Липпсъ. Основы логики. Переводъ съ нѣмецкаго Н. О. Лосскаю. С.-Пб. 1902</i>	218
Ф. Ф. Соколовъ. <i>Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini. Volumen IV. 1885. Edidit B. Latschew. Petropoli 1901.</i>	225
И. А. Шляпкинъ. Запѣтка на отвѣтъ г. Перетца	231
— Книжныя новости	235

НАША УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

<i>М. Фостеръ и Л. Шоръ. Физиологія для начинающихъ.</i>	1
<i>М. Мензбиръ. Начальный курсъ зоологіи</i>	4
<i>Т. Громотъ. Первоначальныя понятія о теплотѣ съ примѣрами изъ области техники</i>	5

См. 3-ю стр. обложки.

СИМВОЛИКА РАСТЕНИЙ ВЪ ВЕЛИКОРУССКИХЪ ПѢСНЯХЪ.

Начало народной символики восходитъ къ очень древнему періоду творчества,—когда человѣкъ какъ бы не отдѣлялъ себя отъ всего остального міра, считая всю природу одушевленной: явленія своей жизни онъ переносилъ на явленія природы и вѣрилъ въ ихъ воздѣйствіе другъ на друга. Чувство, являющееся важнымъ факторомъ въ этой первобытной жизни, заставляло народную мысль сравнивать предметъ, возбуждающій извѣстныя эмоціи, съ другимъ предметомъ, схожимъ съ первымъ въ какомъ-нибудь отношеніи. Отсюда такія выраженія, какъ „золотой ты мой“ и многія другія. Что чувство, дѣйствительно, принуждаетъ къ сравненію, подтверждается самимъ народомъ; вотъ пѣсня, въ которой дѣвица говоритъ о своемъ миломъ:

Я не знаю, къ чему дружка примѣнить.
Красоты въ лицѣ не можно оцѣнить;
Его личико—бѣлый свѣтъ,
Щечки—аленько-лазореваѣ цвѣтокъ (С., IV, т. № 35).

То же мы имѣемъ и въ цѣломъ рядѣ другихъ пѣсень (С., IV т., № 31—33 и др.) ¹⁾. Чувство не можетъ быть описано; но оно требуетъ выраженія, и человѣкъ долженъ былъ найти для этого способъ; путь сравненія оказался наиболѣе удобнымъ для этой цѣли; указаніе на предметъ, возбуждающій чувство, хоть сколько-нибудь похожес на

¹⁾ При указаніи пѣсень въ этой работѣ имѣются въ виду сборники: „Великорусскія народныя пѣсли“, изданныя проф. А. И. Соболевскимъ, т.т. I—V и „Великорусскія въ своихъ пѣсняхъ, обрядахъ, обычаяхъ и т. п.“ П. В. Шейна—т. I, вып. 1 и 2.

испытываемое въ данное время, давало возможность другому человеку болѣе или менѣе представить себѣ внутреннее состояніе чувствующаго.

Вѣра въ одушевленіе природы позволяла народу сопоставлять самыя разнообразныя предметы, какъ явленія одного порядка; а сравненіе, движимое чувствомъ, находило еще и другіе общіе признаки, на основаніи которыхъ проводилась полная аналогія между этими предметами или ихъ представленіями. И это, естественно, вело къ замѣнѣ одного представленія—внѣшняго или внутренняго—другимъ, непремѣнно внѣшнимъ, такъ какъ народъ всегда стремится облечь мысль въ конкретныя образы; взаимное отношеніе этихъ представленій постоянно сознавалось человекомъ,—они какъ бы сливались въ одну общую, органически связанную картину. Понимая, такимъ образомъ, символъ, какъ такое внѣшнее представленіе, которое замѣняетъ другое, связанное съ нимъ общностью одного или нѣсколькихъ признаковъ, мы не можемъ согласиться съ опредѣленіемъ Костомарова: онъ разумѣетъ символъ, какъ „образное выраженіе нравственныхъ идей посредствомъ нѣкоторыхъ предметовъ физической природы, причемъ этимъ предметамъ придается болѣе или менѣе опредѣленное духовное свойство“ ¹⁾. По развѣ народъ символизируетъ однѣ только нравственныя идеи? Вѣдь, самъ Костомаровъ нѣсколько ниже говоритъ, напримѣръ: „Береза—также женскій символъ; она особенно означаетъ замужную женщину“... ²⁾ Говоря о дубѣ, онъ замѣчаетъ: „въ нѣсияхъ онъ постоянно означаетъ мужчину, преимущественно молодца“ ³⁾. Значитъ, не только нравственныя идеи символизируются народомъ, и опредѣленіе Костомарова, очевидно, не точно. Если мы примемъ во вниманіе ту роль, какую играетъ вообще чувство при образованіи символовъ въ народномъ творествѣ, то будемъ въ состояніи догадаться, какъ произошла его ошибка: „нравственныя идеи“ неотдѣлимы отъ чувства.

Символизация, само собой разумѣется, свойственна не только народному творчеству: символы встрѣчаются на каждомъ шагу и въ обыденной жизни; только мы такъ привыкли къ нимъ, что не всегда отдаемъ себѣ въ этомъ отчетъ. Достаточно указать нѣкоторые изъ

¹⁾ *Костомаровъ*, Историческое значеніе южно-русскаго народнаго нѣсеннаго творчества; Вестъда 1872 г., IV кн., стр. 20.

²⁾ Тамъ же, кн. VIII, стр. 25.

³⁾ Тамъ же, кн. VIII, стр. 33.

нихъ: крестъ—символь христіанства; гербъ—извѣстнаго происхожденія; буквы—символы звуковъ и т. п. Символомъ, конечно, можетъ быть и цѣлая картина. Такимъ образомъ, символизациа встрѣчается въ весьма разнообразныхъ областяхъ. Разница только та, что въ однихъ случаяхъ она опирается на дѣйствительно существующія психическія свойства человѣка (символика естественная, къ которой относится и народная, вытекающая изъ всего первобытнаго міросозерцанія), а въ другихъ — она бываетъ искусственной, слѣдствіемъ чего является условность ея и понятность только посвященнымъ (таковы буквы современныхъ алфавитовъ). Но всегда при символизации мы видимъ одинъ и тотъ же психическій процессъ, и въ немъ главную роль играетъ, разумѣется, связь, соединяющая оба представленія. Эта связь между двумя образами—символомъ и символизирваемымъ—можетъ быть весьма различна, въ зависимости отъ тѣхъ признаковъ, на основаніи которыхъ дѣлается заключеніе о сходствѣ данныхъ явленій; одинъ и тотъ же образъ можетъ, поэтому, стоять параллельно съ нѣсколькими совершенно разными картинами; напримѣръ, калина въ пѣсняхъ, взятая съ признаками характеризующими ея внѣшній видъ, связывается въ народномъ сознаніи съ картинами свѣтлыми, веселыми и, напротивъ,—съ печальными, если принять во вниманіе горечь ея плодовъ. Съ другой стороны, нѣсколько различныхъ по существу образовъ могутъ соединяться однимъ общимъ признакомъ и, въ силу этого, соответствовать одному и тому же представленію: такъ, ломать, рвать какое-нибудь растеніе (калинну, черемуху и др.) значить брать замужъ, свататься, любить. Ниже, при разборѣ отдѣльныхъ образовъ, мы еще будемъ имѣть дѣло съ подобными случаями.

Восходя къ періоду первобытной вѣры человѣка въ одухотворенность природы, символика необходимо должна была отразиться на созданіи нѣкоторыхъ мифовъ; въ самомъ дѣлѣ, какъ продукты болѣе простаго психическаго процесса, символы должны были предшествовать мифическимъ представленіямъ, для которыхъ требуется уже значительное развитіе народной мысли: природа перестаетъ быть живой, но наполняется въ сознаніи человѣка сверхъестественными существами—демонами, одаренными человѣческими свойствами, но со стихійной силой. При разсмотрѣніи отдѣльныхъ поэтическихъ образовъ, мы постараемся, гдѣ возможно, хоть въ общихъ чертахъ, выяснить ихъ вліяніе на мѣны и обычаи, связанные съ тѣми или другими вѣрованіями и взглядами народа.

Наряду съ параллельными картинами, намъ нерѣдко придется имѣть дѣло съ разнаго рода сравненіями, изъ которыхъ многія очень близко подходятъ къ этимъ параллельнымъ картинамъ-символамъ. Народъ какъ бы начинаетъ отличать себя отъ остального міра и его явленій: возникаетъ мало-по-малу критическое отношеніе къ природѣ, начинается простѣйшій самоанализъ, и мысль человѣка возвращается къ первоначальному психическому акту, лежащему въ основѣ процесса, породившаго символы,—къ акту сравненія. Народъ смотритъ уже на параллели, только какъ на особый видъ сравненій, вслѣдствіе чего онѣ начинаютъ принимать новыя формы. Въ самомъ дѣлѣ, сравненія положительно-отрицательныя представляютъ собою не что иное, какъ символы, при которыхъ прибавлено какъ бы разъясненіе, что ихъ нельзя понимать буквально—слѣдствіе зародившагося критическаго отношенія человѣка къ себѣ и природѣ; примѣровъ разныхъ сравненій приводить здѣсь нѣтъ надобности, но нельзя не отмѣтить одного положительно-отрицательнаго сравненія, облеченнаго въ несовсѣмъ обычную діалогическую форму:

Кто, кто у насъ ягода, кто, кто у насъ вишенка?

Ягода—Аринушка, вишенка—Левоновна.

„Сестрицы подруженьки, что и вамъ за ягода,

Что и вамъ за вишенка?

Ягода въ чистомъ полѣ, вишенка въ зеленомъ саду!“ (С., IV, 112).

Что же касается отрицательнаго сравненія, то оно есть сокращенное положительно-отрицательное, въ которомъ отпала положительная часть. Дѣйствительно, только подразумѣвая положительное сравненіе, мы можемъ поставить отрицаніе: иначе какъ отрицать то, чего вовсе не высказывалось и не подразумѣвалось! ¹⁾ Относительно положительнаго сравненія мы должны замѣтить, что будемъ пользоваться имъ въ нашей работѣ только тогда, когда наряду съ нимъ намъ встрѣтятся картины, уже явно носящія символическій характеръ.

Приступая къ разбору символики растений, мы должны принимать самыя серіозныя предосторожности, чтобы не приписать народному творчеству того, чего нѣтъ въ дѣйствительности. И, главнымъ образомъ, при указаніи связи между представленіями, намъ необходимо хорошенько выяснитъ, что это за представленія, и установить, на основаніи какихъ именно признаковъ приводятся они въ связь народомъ:

¹⁾ Отрицаніе предполагаетъ положеніе, по словамъ Потебни („О связи представленій“).

намъ нужно опредѣлять, какое именно растеніе имѣется въ виду и на какія его качества народъ обращаетъ вниманіе въ данномъ случаѣ. А вмѣстѣ съ тѣмъ, конечно, придется указать эти признаки и въ томъ образѣ, символомъ котораго является разсматриваемое растеніе.

Деревья и кустарники.

Калина ¹⁾ въ народныхъ произведеніяхъ очень часто сопоставляется съ дѣвушкой:

Хвалилась калина,
За рѣчкою стоя:
„Никто меня не срубитъ“...
Хвалилась Александра,
У батюшки сидя:
„Никто меня не возьметъ“... (Ш., 2071).

Повидая любимую дѣвушку, молодецъ садитъ „у милой во садочку“ калину:

„Расти, расти, калиничка—
Въ гору—не патайся!
Живи, милая ты дома,
Живи, не печалься“ (Ш. 757).

Вышедшую замужъ дѣвушку спрашиваютъ въ пѣснѣ:

„Съ бѣгъ ягоди рвала,
Калину ломала?“ (Ш., 2121).

По свадебнымъ пѣснямъ конь жениха ломаетъ въ зеленомъ саду „свѣты лазоревые и калину со малиной“... (Ш., 1837). „Ломать“, „заламывать“—это образъ, повторяющійся, какъ мы увидимъ ниже, и при многихъ другихъ растеніяхъ.

Въ связи съ калиной нужно указать, разумѣется, и на „калино-

¹⁾ Пѣсни, которыя имѣлись въ виду, при разборѣ образовъ, касающихся калины, а также и малины: *Шейнъ*, №№ 309, 321, 358, 364, 373—375, 410, 411, 428, 435, 450, 451, 458, 465, 472, 492, 555, 561, 584, 589, 610, 726, 737, 757, 764, 784, 820, 852, 900, 1079, 1147, 1153, 1182, 1183, 1206, 1238, 1241, 1247, 1279, 1367, 1517, 1763, 1818, 1837, 2071, 2122, 2282, 2321, 2438; *Соболескій*: т. I, №№ 52, 65, 92, 96, 103, 123; II—6, 8, 48, 82, 113, 141, 150, 221, 262—264, 322, 323, 326, 365, 366, 504; III—19—21, 222, 256, 432; IV—388 и др.; V—45, 46, 438, 516, 555 и другія.

вые мосты“, которые такъ часто упоминаются въ нашихъ пѣсняхъ: дѣвушка гонитъ свою овечку за рѣку, „за калиновъ частый мостикъ“, и тутъ происходитъ свиданіе влюбленныхъ (С., II, 48). По калиновому мостику дѣвица ходитъ къ милому:

„Калинъ мостикъ мостила;
И ко милому ходила“ (III., 1153).

Но счастье не всегда улыбается влюбленнымъ; оно нерѣдко идетъ рука объ руку съ горемъ: „калинъ мостикъ обломился“, и „милый потонулъ“; а дѣвица закликаетъ рѣку вернуть ей ея друга (III., 737). Стораніе калиноваго моста сопоставляется съ концомъ дѣвичьей свободы и сватовствомъ старика (С., IV, 385).

Гораздо чаще калина упоминается вмѣстѣ съ малиной, но и въ этомъ случаѣ картины остаются почти тѣ же. Цѣлый рядъ хоровыхъ и плясовыхъ пѣсенъ имѣетъ припѣвъ—„калина моя, малина моя!“—съ тѣми или другими его видоизмѣненіями. Указывать всѣ или хоть нѣкоторыя пѣсни съ такимъ припѣвомъ имѣть надобности, такъ какъ иногда припѣвъ не имѣетъ ничего общаго съ самымъ содержаніемъ пѣсни. — Вода заликаетъ калину-малину—кончается дѣвичество, и начинается жизнь замужомъ „на чужой сторонункѣ“, „во лихой семьѣ“ (С., III, 19—21):

Калинушку съ малинушкой водой залило,—
На ту пору матушка меня родила.
Не собравшись съ разумомъ замужъ отдала (III., 852).

Тотъ же мотивъ повторяется во многихъ другихъ пѣсняхъ, но съ нѣскольکو иной символической картиной:

Не въ пору во времячко калина зрѣла;
На ту пору-времячко мати меня родила.
Не собравшись съ разумомъ, замужъ отдала (С., III, 22).

Или:

Калинушка съ малиною
Ранешенько расцвѣла,—
На ту пору матушка
Меня замужъ отдала (III., 1238).

Осыпавшаяся калина—покинутая милымъ дѣвушка:

Не созрѣвши, калинушка осыпалась,
Осыпалась, пересыпалась...
Передъ молодежъ красна дѣвица состарилась,
Состарилась, перестарѣлась... (С., II, 82).

Иногда въ пѣсняхъ встрѣчается и одна малина; подобно калинѣ ее сажаютъ подъ окномъ горющей дѣвушки:

Рости, рости, моя малинушка,
Рости, рости, да ты не шатайся!
Да живи, живи, моя сударушка,
Живи, живи, да ты не печалься! (С., V, 516).

Ниже мы увидимъ, что не только дѣвичье состояніе сопоставляется съ калиной и малиной; но все же это наиболѣе частый случай, по крайней мѣрѣ, по отношенію къ калинѣ; ея образъ, очевидно, подъ влияніемъ своей прочной ассоціаціи съ представленіемъ дѣвчества, сохранился не только въ пѣсняхъ: мы его находимъ и въ одномъ свадебномъ обычаѣ, извѣстномъ подъ именемъ „Калинки“. Вотъ какъ описываетъ Даль въ своемъ „Словарѣ“ этотъ обычай: „Калинку ломать (!), свадебный обычай: на столѣ у молодыхъ окорокъ и штофъ вина, заткнутый *пучкомъ калины съ алой лентой*; молодыхъ поднимаютъ и идетъ потчиваніе, обходятъ по домамъ родителей невесты, родичей, поѣзжанъ, а воротясь, дружка рушитъ окорокъ и, *раскипавъ калину*, разносятъ вино“. А въ одной пѣснѣ дѣвушка прямо говоритъ:

Миновалась моя дѣвья красота
Какъ со калиной, со малиною,
Съ черной ягодой смородиною (С., II, 113).

Нѣсколько въ иномъ видѣ происходитъ, по Шейну, „Калинка“ въ Оренбургской губерніи: здѣсь на другой день послѣ вѣнца къ молодымъ снова являются гости и узнаютъ, „какъ живы-здоровы“ новобрачные; происходитъ „честный судъ“ надъ дѣвственностью молодой, и, если оказывается, что она непорочна, ея родителей чествуютъ, при чемъ угощаютъ „*малиновою* настойкой“; въ противномъ же случаѣ, подаютъ „простое вино“ въ дырявыхъ рюмкахъ ¹⁾). Въ Курской губерніи рубашку молодой, какъ свидѣтельница ея дѣвственности, называютъ „*калиной*“ ²⁾). Этотъ обычай еще разъ подтверждаетъ, что, дѣйствительно, образъ калины соединялся въ сознаніи народа съ представленіемъ дѣвственности. Отсюда понятно, что и самая пирушка была названа „калинкой“, — это какъ бы тризна надъ утраченной съ замужествомъ дѣвственностью: на свадьбѣ какъ бы хоро-

¹⁾ Шейнъ, Велькорусь, стр. 754.

²⁾ Тамъ же, стр. 630.

нять калину, по словам Потебни ¹⁾). Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ калина замѣняется цвѣткомъ, воткнутымъ въ „курникъ“: при подтвержденіи цѣломудренности невесты, „цвѣтокъ съ курника ловко спибають ножомъ“ ²⁾).

Въ цѣломъ рядѣ другихъ пѣсенъ съ калиной сопоставляется молодая женщина:

Кликали калину
Во нить голосочковъ:
Первый же голосъ —
Да свежровъ кличетъ и т. д. (III, 450).

Въ другой пѣснѣ поется:

Прекрасное наше дерево калина!
Сокрасила калинушка два луга,
Два луга, третью зелену дубраву.
Прекрасная наша Гапуля!
Сокрасила Гапуля два дома:
Первый-то домъ свежровъ и т. д. (III., 2122).

Или еще въ одномъ мѣстѣ:

А у лузи соловейко
Да калинку клюеть,
А лютый свежорко
Да невесту журишь... (III., 1183).

Мы уже не находимъ здѣсь на ряду съ калиной малины; онѣ даже противопоставляются въ нѣкоторыхъ пѣсняхъ одна другой; жите въ свежра сравнивается съ житемъ въ родномъ домѣ:

Ой сѣла всрона
На калиновомъ кустѣ.
Ой горько мнѣ, горько
Калиницу клевати.
— „Ой куда мнѣ худо
У свежорки жити“....
Ой, сладко мнѣ, сладко
Малиницу клевати.
Ой сладко мнѣ, сладко,
У батюшки жити (III., 1182).

Или:

Росла въ саду ягода, все калина со малиной:
Не быть той калинушки сопроти ягоды малины,
Не быть чужому батюшкѣ сопроти своего родимова (III., 1818).

¹⁾ Потебня: „О нѣкоторыхъ символахъ въ славянской народной поэзіи“.

²⁾ Шейнъ, стр. 714, 2 стб.

Горечь калины сопоставляется и съ другими невзгодами замужней жизни:

„Какова горька да калинка, —
 Таково мнѣ, молоденькѣ,
 Со старымъ-то мужемъ жити“.
 — „Какова сладка малинка, —
 Таково мнѣ, молоденькѣ,
 Со младымъ мужемъ жити“ (С., II, 368).

Разлука съ любимымъ человекомъ тоже сравнивается съ горечью калины:

Какова горька да калина, —
 Таково разставанье съ милымъ... (С., II, 369).

На калинѣ сидитъ кукушка и печально кукуетъ:

Не пора ли тебѣ, залетная, перестати?
 Молодушка молодая не полно-ль тебѣ тужить—плакать? (С., V, 45).

Калинникъ бываетъ иногда мѣстомъ преступленья: сюда бросаетъ убійца князь Романъ тѣло своей жены (С., I, 92). Калиновые мосты тоже дѣлаются свидѣтелями сцены убійства (С., I, 96). Жена, видя, что мужъ хочетъ ее убить, проситъ не губить ее въ „дикой степи“, а— „подъ мостикомъ подъ калиновымъ“ (С., I, 103).

Во всѣхъ разсмотрѣнныхъ пѣсняхъ мы видимъ, что представленіе калины связывается съ представленіемъ женщины, но есть случаи, какъ будто противорѣчаще этому:

Въ лѣсѣ калина
 Красна хороша.
 Краше того Иванъ молодецъ (III, 1517).

Но еще по одной этой пѣснѣ нельзя сдѣлать никакого заключенія. Въ самомъ дѣлѣ, во-первыхъ, тутъ можетъ быть простое сравненіе, котораго одного еще недостаточно, чтобы заключать о символическомъ значеніи; а во-вторыхъ, это—пѣсня свадебная, и въ ней подъ калиной легко можетъ разумѣться невѣста, съ которой сравнивается женихъ. Несомнѣнно обычнымъ является слѣдующее мѣсто въ одной пѣснѣ:

Какъ клонилася калина
 Къ сладкой ягодѣ малинѣ.
 Сбиралась сестрица
 Ко родному братцу въ гости (С., III, 222).

Интересна также пѣсня, въ которой молодая женщина говоритъ о своемъ старомъ, нелюбимомъ мужѣ:

Еще я ль, молодешенька, не любивала,
Еще въ гѣсъ за малиною не хазивала,
Я стара мужа малиною не кармивала (С., V, 438).

Такое же начало мы находимъ въ пѣснѣ, повѣствующей объ удушениі мужа женой совмѣстно съ любовникомъ (Ш., 900).—Таковы въ краткихъ чертахъ тѣ образы, которые связываются съ калиной-малиной.

Подъ именемъ калины народъ разумѣетъ *Viburnum Opulus* ¹⁾. Но и *Viburnum Lantana* въ польскихъ областяхъ называется калниой, а въ Малороссіи „черной калиной“; называютъ ее также „гордовиною“. Въ великорусскихъ пѣсняхъ постоянно упоминается „красная“ (Ш., 1517), „жаркая“ (С., III, 432), „червоная“ (С., V, 555) калина; ея цвѣтъ обличается съ огнемъ: „огонь горитъ калиновый, дымокъ валитъ малиновый“, т. е. освѣщенный пламенемъ костра (С., I, 123). Можетъ быть, самое названіе калины происходитъ отъ тѣхъ представленій, которыя связывались съ огнемъ: калить, раскалять, — въ одной пѣснѣ „калина“ значить раскаленіе (С., I, 65 стр. 112). Очевидно, это—калина *Viburnum Opulus*, у которой спѣлые плоды имѣютъ красный цвѣтъ. У *Viburnum Lantana* они бываютъ красными, пока еще не созрѣли, а потомъ становятся черными: этого народъ не могъ бы не отмѣтить, но крайней мѣрѣ, въ одной пѣснѣ. Но почему же представленіе калины стало ассоціироваться съ представленіемъ дѣвушки? Потѣбля совершенно справедливо указываетъ, что къ этому повело сходство признаковъ: красавица, дѣвица красная и красная калина, очевидно, имѣютъ, по меньшей мѣрѣ, одинъ общій признакъ, который отразился и въ самомъ языкѣ. Если мы примемъ во вниманіе еще и то, что дерево представлялось народу существомъ живымъ и что калина имѣетъ бѣлые цвѣты, а бѣлизна, какъ отмѣчаютъ нерѣдко пѣсни, является и качествомъ дѣвушки („ростомъ невеличка, бѣла, круглоличка“—С., IV, 767, 770),—то мы легко поймемъ, какъ могла возникнуть въ народномъ сознаніи связь между представленіемъ дѣвушки и представленіемъ калины. Отсюда уже потомъ произошло расширеніе символическаго значенія: оно распростра-

¹⁾ При опредѣленіи растеній, имѣлись въ виду слѣдующія пособія: *Линнековъ*; *Ботаническій словарь*; *Гобманъ*, *Ботаническій атласъ по системѣ де Кандоли* *Э. Пестеля*, *Для ботаническихъ экскурсій* и *Словарь Даля*.

нилось какъ на разныя проявленія дѣвичьей жизни, такъ и вообще на женщину. Но участь женщины была далеко не завидная, и калина стала связываться иногда и съ печальными сторонами женской жизни; этому, конечно, способствовало свойство ея плодовъ—горечь, которую народъ неоднократно отмѣчаетъ въ пѣсняхъ. Горе, горькая доля, „горькая“ дѣвушка, въ смыслѣ несчастная (Ш., 2020 и др.), и горькая калина, и такъ уже обозначающая женщину, должны были вступить въ народномъ сознаниі въ прочную связь. А тутъ еще рядомъ сладость малины; каждый знаетъ, что калина любитъ ютиться въ сырыхъ заросляхъ по берегамъ рѣкъ и ключей, гдѣ во множествѣ растутъ и малина (*Rubus Idaeus*), имѣющая съ ней много общаго въ окраскѣ плодовъ и цвѣта. Вмѣстѣ онѣ появляются и въ садахъ, да и самыя ихъ названія, различающіяся только однимъ звукомъ, не могли не оказать вліянія на ихъ соединеніе вмѣстѣ. Но сладость ягодъ малины не допустила ея сдѣлаться печальнымъ образомъ, подобно калинѣ.

Черная смородина ¹⁾ (*Ribes nigrum*) очень часто встрѣчается вмѣстѣ съ калиной и малиной, и эта совмѣстность дѣлаетъ ея значеніе неяснымъ и сбивчивымъ. Приведенный выше отрывокъ пѣсни объ утратѣ дѣвичьей красоты „со калиной, со малиною, со черной ягодой смородиною“ повѣствуетъ дальше о неудачномъ замужествѣ (С., II, 113). Въ другой пѣснѣ дѣвушки идутъ въ лѣсъ за этими тремя ягодами:

Всѣ дѣвушки понабралися...
Одна дѣвушка не набралася,
Одна красная не наблася—
Подъ сырымъ дубомъ все проплакала:

она жалуется на свою тяжелую жизнь у мачехи (С., II, 8). Въ подблюдныхъ пѣсняхъ черная смородина тоже встрѣчается рядомъ съ калиной и малиной (Ш., 1079). Въ одной изъ нихъ есть интересное замѣчаніе:

Паль, паль перстень,
У калину, у малину,
У черную смородину.
Смородина не ягода,
Смеринъ (смердинъ) сынъ, не баръ сынъ... (Ш., 1078).

И въ связи со смородиной мы встрѣчаемъ уже знакомый образъ „за-

¹⁾ Ш. 609, 720, 740, 851, 1078, 1079, 1602, 1763, 1807, 1837; С. — I, 90, 92, 280; II, 6, 8, 57; III, 113; V, 99 и др.

лампванья“ растенія: за дѣвушку сватается „чужой чуженинъ“ (Ш., 1602). Въ другой пѣснѣ мы видимъ картину печали молодой на чужбинѣ:

На жениховымъ дворѣ
И черна смородушка:
Налетать лебедушки
И клюютъ смородушку;
Одна лебедушка
Не клюетъ смородушки;
Пала лебедушка
Въ тоску, вручинушку... (Ш., 1807).

Гораздо яснѣе выступаетъ значеніе черной смородины въ другихъ пѣсняхъ: „вызрѣла дѣрная ягода смородина“, и молодая женщина „вызнала всю правду свекрову“ (Ш., 609).

Изъ куста, изъ смородинки рѣчка протекла,
На ту пору меня матушка горькую родила.
Не собравшись съ умомъ разумомъ, замужъ отдала (Ш., 851)...

Довольно часто смородина является въ пѣсняхъ именемъ рѣки: въ эту рѣку мужъ бросаетъ трупъ убитой имъ жены (С., I, 90). II, кажется, тутъ названіе рѣки не является случайнымъ; по крайней мѣрѣ, въ одномъ вариантѣ мы находимъ нѣсколько иную картину:

Онъ жену терзаетъ, онъ тѣло терзаетъ,
Во смородину бросаетъ, во калинникъ (С, I, 92).

При переправѣ черезъ „черную рѣчку Смородинку“ погибаетъ молодецъ вслѣдствіе своей „похвалбы молодецкой“ (С., I, 280). „У рѣчки у Смородинки“, „у Грязи у Черныя“ помѣщается въ былинѣ Соловей-разбойникъ. Словомъ, упоминаніе рѣки Смородины, въ большинствѣ случаевъ, связывается съ какой-нибудь мрачной картиной. Значеніе смородины особенно ясно раскрывается одной пѣсней, гдѣ прямо говорится:

.....„мое сердечко все изныло,
Что чернѣе-то оно ягоды смороды“ (С., V, 99).

Интересно сопоставить это выраженіе горя съ другими сходными образами:

„Ахъ, и такъ во мнѣ сердечушко, и такъ оно все изныло;
Почернѣло мое сердечушко чернѣй черной грязи“... (С., V, 100).

Или еще:

„Погляди мое ретиво сердце:
Не бѣгѣ чернаго бархата!“ (Ш., 789).

Приведенныя мѣста позволяютъ намъ указать на вѣроятный ходъ народной мысли при возникновеніи символическаго значенія смородины. Легко замѣтить, что представленія печали, горя, несчастья и т. п. тѣсно связаны для человѣка съ представленіемъ чернаго цвѣта. Узнавъ о связи съ молодцемъ своей дочери, родители снимаютъ съ нея „платье цвѣтное“, „надѣваютъ на красну дѣвицу платье черное“ (С., II, 97). Въ „Словѣ о полку Игоревѣ“ Святославъ видитъ вѣщій сонъ: его одѣваютъ „чѣрною наполомоу на кровати тисовѣ“. Интересно сопоставить одѣваніе въ темное съ такимъ мѣстомъ въ пѣснѣ: „И кручиною одѣнусь, печаль въ головы кладу“ (С., V, 390). Современный трауръ явленіе аналогичное тому, что мы видимъ въ пѣсняхъ. Трудно сказать, когда эта ассоціація возникла въ народномъ сознаніи; но несомнѣнно, что она существуетъ. Отсюда понятно, что черныи цвѣтъ плодовъ смородины поставилъ ее въ параллель съ картинами, вообще говоря, печальными. Даль въ „Словарѣ“ указываетъ на происхожденіе самаго названія смородины отъ „смородъ“, смрадъ,—отъ ея „удушливаго запаха“: и дѣйствительно, запахъ смородины (черной) является для нея столь же отличительнымъ признакомъ, какъ и окраска плодовъ. Причина совмѣстности черной смородины съ калиной и малиной—та же, какую мы указывали для объясненія близости малины къ калинѣ: очень часто эти три кустарника въ дикомъ состояніи встрѣчаются въ одномъ и томъ же мѣстѣ. Нѣкоторая цельность символики смородины, можетъ быть, происходитъ потому, что вѣншіи черныи видъ ягодъ какъ бы противорѣчитъ ихъ сладости; подобное явленіе мы отмѣчали и при калинѣ, но тамъ было наоборотъ: горечь ягодъ не соответствовала вѣншности растенія и его плодовъ.—Красную смородину мы встрѣтили только одинъ разъ; молодая онается, что свекоръ и свекровь не пустятъ ее—

За калиной, за малиною ходить,
 Какъ за красною смородиною,
 Что за черной за черемушкой.
 Мнѣ не можно ужъ тебя, другъ, повидать...
 Что люблю, тебѣ рассказывать (С., II, 57).

Черемуха ¹⁾ является въ ряду упомянутыхъ уже растеній съ тѣми же главными чертами, о которыхъ намъ пришлось не мало го-

¹⁾ III.—109, 817, 819, 2004; С.—II, 57, 432; IV, 509—511, 800, 801; V, 636—638 и др.

ворить выше. Черемуху выкапываютъ въ лѣсу и пересаживаютъ къ себѣ въ садъ—ухаживаютъ за дѣвушкой:

Не созрѣвши зеленую,
Нельзя заломать,—
Не узнавши красную дѣву,
Нельзя замужъ взять (III., 409).

Раннее цвѣтеніе и затопленіе водой—тоже извѣстная картина:

Во саду черемшника рано расцвѣла,
Зелена кузявая водой попила,
На ту пору времечко матушка мнѣ родила...
Не собравши съ разумомъ замужъ мнѣ отдала.

Возвратившись на родину въ образѣ итицы на четвертый годъ, она садится на черемшнику и жалобно поетъ (III., 849). Въ другой гѣснѣ рисуется картина неудачнаго замужества:

...подъ грушиной, подъ черемшиной,
Сидитъ старый съ молодой, какъ со игодою (С., II, 432).

Нѣсколько особнякомъ стоятъ гѣсни, содержаніе которыхъ сводится къ слѣдующему:

Ой, черемушка, частенькій кустокъ!
На черемушкѣ бѣленькій цвѣтокъ;
Далеко въ полѣ бѣлѣтся,
Бѣлѣтся, зеленѣтся (С., IV, 509).

Подобное начало встрѣчается во всѣхъ разсматриваемыхъ гѣсняхъ (III., 2004; С., IV, 510, 511); только бѣлый, естественный цвѣтъ черемухи иногда замѣняется „аленькимъ цвѣточкомъ“, который „алѣтся, голубѣтся“. Далѣе идетъ рассказъ о прїѣздѣ къ молодой женѣ или дѣвицѣ молодца на ворономъ конѣ; молодецъ проситъ ее оказать ему какую-нибудь услугу: раскрыть ворота, поднять упавшую шляпу..., но она отказывается: онъ ее забылъ, и она не можетъ простить ему тѣхъ страданій, которыя терпѣла въ разлукѣ. Приведемъ еще одну гѣсню, характеризующую значеніе черемухи гораздо лучше, чѣмъ всѣ предыдущія:

Садитъ чернецъ черемушку, садитъ, поливалъ.
Рости, мой черемушка, тонка, висока,
Цвѣти, мой черемушка, какъ бѣла заря,
Вызрѣвай, мой черемушка, какъ черная гризъ.
Кормилъ-поилъ сударушку, прочилъ за себя,
Досталася любезная иному, не мнѣ... (С., V, 658).

Хотя всего этого слѣшкомъ мало для рѣшительнаго вывода о значеніи черемухи, но все же можно указать, напริมѣръ, то, что съ ней во всѣхъ приведенныхъ пѣсняхъ связана мысль о страданіи. И не мудрено: черный цвѣтъ и вяжущее свойство плодовъ черемухи не могли не повліять на характеръ ея значенія. Бѣлый цвѣтъ черемухи сблизилъ ея образъ съ представленіемъ женщины. Черемуха (*Prunus Padus*) встрѣчается въ пѣсняхъ подъ названіями „черемуха“, „черемы“, „черемшинка“. Въ словарь Анненкова „черемухой“ и „черемшой“ называется *Allium Ursinum*—сорть лука; но, конечно, по смыслу пѣсенъ, народъ не его имѣетъ въ виду.

Груша ¹⁾ встрѣчается въ пѣсняхъ довольно часто. Здѣсь мы опять видимъ, что картины изъ жизни дерева, большей частью, сопоставляются съ картинами изъ жизни женщины: измѣна мужа горестно поражаетъ молодую:

На несчастной здѣсь сторонки
И травоньки не растутъ...
...Въ саду грушица завала (Ш., 793).

„Середь лѣса, лѣса темнаго, подъ грушею спать ложилася, грушевымъ листомъ прикрылася“ дочь, поссорившаяся съ матерью (Ш., 845). Незеленая груша ставится въ параллель съ невсеселой молодой женщиной, которой не позволяютъ никого любить (С., II, 549). Груша стоитъ не зелена, не цвѣтетъ „лазорево“—дѣвушка груститъ, покинутая навсегда своимъ возлюбленнымъ (С., IV, 28). Груша расплалась—дѣвица расплакалась, умоляя отца отложить свадьбу (Ш., 1527). Подъ грушей вопреки волѣ родителей происходитъ свиданіе съ милымъ (Ш., 2059). Здѣсь же молодецъ обманываетъ дѣвушку (С., II, 180); тутъ совершается ея паденіе (С., II, 110). Сирота невѣста, не имѣющая ни отца, ни матери, ставится въ связь съ грушей безъ верхушки:

Много-много у грушицы,
Много вѣтвей, много навѣтей.
Только нѣтъ у грушицы,
Нѣтъ самыя верхиночки... (Ш., 2446).

Дѣвушка обращается въ одной пѣснѣ къ грушѣ съ такими словами:

¹⁾ Ш.—446, 793, 821, 831, 845, 1244, 1272, 1527, 1628, 1643, 1693, 1781, 1917, 1927, 2059, 2119, 2158, 2344, 2446, 2467; С.—I, 116, 136, 248, 276, 370; II, 110, 164, 165, 166, 180, 549; III, 371; IV, 25—28, 35 и др.

Не шуми ты, груша зеленая,
 Не шуми ты надо мной!
 Ежели будешь ты шумѣть,
 Засушу, груша, тебя;
 А не будешь ты шумѣть,
 Снаряжу, грушу, тебя... (Ш., 1917).

„Подъ зеленою грушею“ находить себѣ „вѣчный покой“ убитая мужемъ женщина (С., I, 116). Въ нѣсколькихъ пѣсняхъ поется о превращеніи дѣвушки въ грушу-яблоню:

Раскинусь я яблоню,
 Яблоню кудрявою,
 Грушею зеленою (С., II, 164).

Какъ видно изъ этого и другихъ мѣстъ, въ народномъ представленіи груша и яблоня стояли очень близко, такъ что и намъ нужно разсматривать ихъ вмѣстѣ; однако, прежде чѣмъ приступить къ выясненію значенія яблони, нужно указать тѣ случаи, гдѣ груша отступаетъ отъ обычныхъ картинокъ, связанныхъ съ нею. Въ одномъ причитаніи невеста такъ обращается къ брату:

Братецъ, красно мое солнушко,
 Братецъ, бѣло мое свѣтушко,
 Братецъ, яблонька кудрявая,
 Братецъ, грушица зеленая! (Ш. 1628, стр. 486).

Въ другой пѣснѣ она опять называетъ его „зеленой грушицей“ и хочетъ вручить ему дѣвичью „волю“ (Ш., 1643). Эта „волю“, или „красота“, обыкновенно вручается разнымъ деревьямъ и, въ томъ числѣ, также грушѣ:

Я снесу да мою красоту
 Да во теплыя-то стороны,
 Положу ее на яблоньку садовую
 И на грушицу зеленую (Ш., 1693).

Сестра находить своего брата убитымъ „подъ игрушею подь кудрявою“ (С., I, 370). Ниже, въ связи съ яблоней, мы еще вернемся къ вопросу о значеніи груши.

Яблоня ¹⁾ встрѣчается въ картинахъ болѣе разнообразныхъ, чѣмъ

¹⁾ Ш.—446, 532, 734, 847, 850, 851, 852, 854, 889, 890, 897, 912, 1217, 1230, 1254, 1351, 1354, 1371, 1384, 1527, 1628, 1693, 1694, 1843—1845, 1901, 2032, 2037, 2083, 2064, 2093, 2158, 2185, 2274, 2275, 2293, 2344, 2433, 2519; С.—I, 7, 8, 131, 249, 254, 282; II, 92, 106, 164, 165, 289, 634; III, 20 и др., 587; IV, 529,

груша. Невѣста предлагаетъ матери посмотрѣть въ окно:

Не яблоня-то стоитъ кудрявая,
Не яблочки-то съ нею катятся,—
А стоитъ-то ваше дитя милое,
Горючки-то слезы у ней катятся (III., 2032).

Дѣвица жалуется на преждевременное просватаніе:

Не дали грушѣ вырости,
Не дали яблонѣ выпцвѣсти,
Не дали яблочку вызрѣвати (III., 2275).

Обвиваніе „красоты“ вокругъ яблонн сулить невѣстѣ счастье:

Если ты обвилась, красота,
Вокругъ яблоньки кудрявыя,—
Мнѣ житье будетъ хорошее,
Развеселое, богатое (счастливое) (III., 2185).

Подъ яблоней, какъ и подъ грушей, происходятъ свиданія (С., II, 106). Сохнетъ яблоня—дѣвица тужить (С., II, 289) и, подъ влияніемъ своей тоски, превращается въ грушу или яблоню, изъ которой дѣлають „гусли звонкія“ (III., 854). Молодая женщина тоже является въ образѣ этого дерева (III., 2082):

Сладка яблоня въ саду молода жена:
Отросточки у яблоньки—малы дѣтушки (С., III, 587).

Итакъ, яблоня является женой и матерью (III., 1384), по она же сопоставляется и съ отцомъ:

Расплаталась грушица,
Передъ яблонцой стоячи,—
Расплаталась дѣвица
Передъ батюшкой стоячи (III., 1527).

„Чужой чуженецъ“ тоже иногда является яблоней:

Что стоитъ у насъ за темный лѣсъ,
И во томъ лѣсу во темныиъ
Что стоитъ за яблоня?
То стоитъ, да люди добрые,
То стоитъ, да чужой чуженецъ... (III., 2293).

Несчастливая женщина возвращается кукушкой въ садъ родителей и садится на яблоню (С., III, 21). Лишенная верушки яблоня—вдова безъ мужа (III., 2433). Словомъ, всѣ члены семьи и даже ихъ раз-

личныя состоянія сопоставляются съ яблоней. — Яблоко — тоже нерѣдкій образъ въ пѣсняхъ:

Отправляя мати бѣдна
Я роженанаго-то дитятка,
Да наливчатого яблочки... (III., 2519).

Подобный же случай можно указать и въ известной пословицѣ— „яблочко отъ яблоньки не далеко отъѣзывается“. Яблоки обозначаютъ также жениха и невѣсту:

Здѣсь катались два яблочка...
Что первое яблочко—
Иванъ Петровичъ,
А второе что и яблочко—
Авдотья Ивановна (III., 2037).

Особенно часто яблоко упоминается тамъ, гдѣ идетъ рѣчь о любви и бракѣ: молодецъ предлагаетъ дѣвушкѣ сладкихъ яблокъ (III., 734),— она „яблочка вкусила, свою честность погубила“ (С., IV, 529). Въ числѣ подарковъ жениха нерѣдко упоминаются яблоки (III., 1354). Рвать яблоки—любить, ходить на свиданіе (III., 1254). Не совсѣмъ понятна слѣдующая пѣсня: жена повѣсила мужа на яблонѣ и, одумавшись, хотѣла вернуть его къ жизни, но было поздно: мужъ „домой нейдетъ“:

— „Али ты сладкихъ яблокъ накушался?“ (III., 839).

Въ вариантѣ—жена мужа зарѣзала, и опять повторяются тѣ же слова:

„Сладкихъ яблочекъ
Призакушался“... (С., I, 131).

Повидному, въ этихъ словахъ заключается сарказмъ надъ мужемъ: вмѣсто любви, которая сопоставляется со вкушеніемъ яблокъ, ему суждена смерть отъ руки жены.

Образованіе символики груши и яблони произошло тѣмъ же путемъ, какимъ образовались символы другихъ, уже рассмотрѣнныхъ растений. Весной всѣ усыпанные слегка розоватыми или совсѣмъ бѣлыми цвѣтами, эти деревья должны были производить на человѣка впечатлѣніе чего-то чистаго, дѣвственнаго, и въ силу этого стали обозначать первоначально, повидному, именно дѣвушку; недаромъ бѣлизна лица связывается съ цѣломудренностью и доброй славой-дѣвушки:

И отъ жару, я и отъ морозу
Бѣло личико берегла (Ш., 734).

Въ зависимости отъ другихъ своихъ качествъ груша и яблоня получили свой особый характеръ: груша болѣе грустный, а яблоня болѣе веселый; это, конечно, только общій тонъ ихъ значенія. Груша (*Pirus communis*), равно какъ и яблоня (*Pirus Malus*) иногда, согласно пѣснямъ, растутъ въ лѣсахъ. Въ средней и южной Россіи встрѣчается, какъ извѣстно, дикая груша—„колючее мелколистное дерево съ небольшими терпкими плодами; одни систематики разсматриваютъ ее, какъ одичавшее, другіе же считаютъ ее коренною формою, отъ которой произошли многочисленныя воздѣлываемыя сорта“¹⁾. Колючки и терпкіе на вкусъ плоды²⁾ не могли возбуждать свѣтлыхъ представленій, почему груша, какъ символъ, получила грустный отгѣнокъ. Что касается яблони, то видно, что она производила на народъ свѣтлое впечатлѣніе: яблонька—„кудрявая“, яблонька—„славное деревцо“ (Ш., 889); ея плоды постоянно отгѣчаются словомъ „сладкіе“. Какъ мы видѣли, ея символика отличается большимъ разнообразіемъ картинъ: она сопоставлялась съ дѣвушкой и женщиной, а ея „отросточки“ и „яблочки“ обозначали дѣтей—сыновей и дочерей, что и повело, думается, къ двойственности ея значенія—ея образъ сталъ связываться и съ представленіемъ мужчины, и съ представленіемъ женщины.

Яблоко, какъ образъ любви, извѣстно не только у насъ, въ нашихъ пѣняхъ. Въ Греціи, по словамъ Гена, „плодъ, посвященный Афродитѣ, употреблявшійся во всевозможныхъ любовныхъ играхъ дѣвушекъ и служившій свадебнымъ подаркомъ, былъ не что иное какъ золотистое ароматное квинтовое яблоко“. „Солопъ издалъ законъ, что невѣста во время свадьбы, передъ вступленіемъ въ брачный покой, должна съѣсть кидонское яблоко“³⁾. У сербовъ „принято, чтобы тотъ, кто нищетъ руки дѣвушки, посылалъ къ ней черезъ свата яблоко...; если дѣвушка приметъ яблоко—это служитъ знакомъ ея согласія, въ противномъ случаѣ женихъ долженъ искать себѣ другой невѣсты“⁴⁾. Все это какъ нельзя лучше гармонируетъ съ тѣмъ, что даютъ наши пѣсни. Обозначая, между прочимъ, дѣвушку, яблоко

¹⁾ Гофманъ. Ботаническій атласъ.

²⁾ Вязущее свойство отгѣчается старыми лѣчебниками: *Флоринскій*, Русскіе простовар. травники л лечебники, стр. 44.

³⁾ Генъ. Культурныя растенія и домашнія животныя... Стр. 128—129.

⁴⁾ *Аванасевъ*, Поэт. возвр. слав. на прир., т. II, стр. 317. *Мандельштамъ*. Опытъ объясненія обычая, стр. 31—32.

легко могло быть поставлено въ параллель съ чувствомъ, которое питаетъ къ ней молодецъ: вѣдь, нерѣдко любимую женщину называютъ „любовью“, „любущкой“, „заснобой“; ассоціаціи любви и яблокъ могла въ значительной степени способствовать сладость этихъ плодовъ, неоднократно отмѣчаемая пѣснями. Въ заключеніе упомянемъ еще объ одной пѣснѣ:

Яблони моя сидовал, кора золотая!
Мимо шла Варварушка, кору колупала,
Кору колупала, золото снимала.

Это золото идетъ для вышиванья подарковъ роднымъ будущаго мужа и ему самому (III., 2064). Эти золотыя яблони и тѣ „теплыя страны“, куда невѣста хочетъ снести свою „волю-красоту“, какъ самую дорогую для нея вещь,—нужно, какъ кажется, поставить въ связь съ нѣкоторыми вѣрованіями народа. „Простолюдины“ по словамъ Анастасьева, до сихъ поръ убѣждены, что гдѣ-то далеко (на востокѣ) есть страна вѣчнаго лѣта, насажденная садами изъ золотыхъ и серебряныхъ деревьевъ и оглашаемая пѣснями райскихъ птицъ, въ которой рѣки текутъ млекою и медомъ, серебромъ и золотомъ¹⁾. Это уже вводитъ насъ въ область мифическихъ и религіозныхъ вѣрованій народа.

*Рябина*²⁾ тоже сопоставляется съ женщиной—дѣвушкой или замужней, и тоже, за рѣдкими исключеніями, связывается съ мыслью о страданіи; тутъ опять предъ нами уже знакомые образы. Заламывать рябину—желать любви (С., II, 349), но, кромѣ того, и брать замужъ:

Не вырѣвшей рябинушки
Нельзя заломать;
Не выросшей дѣвушки
Нельзя замужъ вить (С., II, 353).

Вода подмываетъ рябину—дѣвушку противъ ея желанія выдають замужъ (III., 847). Отмѣтимъ картину разсѣченія рябины на части:

Стояла рябинушка на городѣ.
Сѣкли рябинушку на четверо,
Сдѣлали рябиновы гуслицы...

¹⁾ Анастасьева, тамъ же, стр. 294.

²⁾ III.—333, 339, 456, 513, 514, 569, 623, 720, 780, 847, 1153, 1169, 1211 С.—I, 79, 80, 81; II, 349, 353, 365—367, 503; III, 38, 139, 583; IV, 42, 43, 619, 634 и др.

„Что же ты, дѣвица, невесело сидишь?
 Что же ты, красная, невесело глядишь?
 Я же тебя не насилу взамужъ брагъ“... (С, III, 583).

Подобный же мотивъ о рябинѣ встрѣчается и еще въ нѣкоторыхъ пѣсняхъ (С., IV, 634). Тяжелая жизнь молодой на чужой сторонѣ изображается слѣдующимъ образомъ:

Протекала рѣка слезовая,
 Вокло той рѣкѣ же лѣсочекъ,
 Усѣ лѣсочекъ усѣ рябина,
 Усѣ пташекъ, усѣ кукушекъ;
 Ены день и ночь усѣ кукують,
 А мня, молоду, усѣ прослезують... (Ш., 1169).

Замѣчательнъ въ этой пѣснѣ подборъ печальныхъ образовъ: рябиновый лѣсъ и кукушки около рѣки слезъ. Непогода, постигшая рябину, ставится въ параллель съ горемъ, поразившимъ женщину:

Ой у полѣ, ой у полѣ рябина стояла.
 Буень вѣтеръ, буень вѣтеръ рябину шатаетъ;
 Дробень дождикъ, дробень дождикъ рябинушку мочить;
 Красно солнце, красно солнце рябинушку сушить (С., IV, 42).

Въ рябину превращаетъ злая свекровь нелюбимую сноху, жизнь которой продолжается и въ деревѣ; изъ него течетъ кровь, оно говорить по-человѣчески и плачетъ:

Безъ вѣтру рябина зашаталася,
 Безъ дождю рябина мокра стала,
 Безъ вихрю рябина къ землѣ клонится.

Отростки рябины—„малы дѣтушки“ (С., I, 79, 80). Несчастливая доля женщины въ семьѣ мужа изображается скуднымъ урожаемъ ягодъ на рябинѣ:

А рябина, рябина да не сильно вродяла—
 А съ кисти—по горсти, съ другой—по пригоршнѣ.
 А молодка, молодка да ще молодая!
 Ой, что жь ты, молодка, да не весела ходишь? (С., II, 503).

Таковы образы, связанные въ народныхъ пѣсняхъ съ рябиной, подъ которой, конечно, нужно разумѣть рябину-дерево—*Sorbus Aucuparia* (или *Pirus Aucuparia Gaertn.*): вѣдь, рябиной называется еще трава *Talaseum vulgare*—пизма обыкновенная, употреблявшаяся из-

лавна въ народной медицинѣ ¹⁾). Образъ рябины вызываетъ въ народѣ образъ печальной женщины на основаніи тѣхъ же свойствъ, которыя мы видѣли и въ другихъ женскихъ символахъ: бѣлые цвѣты и красные плоды давали для этого полную возможность. А горьковато-кислый вкусъ послѣднихъ заставилъ мысль направиться на „горькія“ явленія жизни. Кислота и горечь ягодъ, отмѣчаемая народной медициной ²⁾, сопоставляются въ пѣсняхъ съ безрадостной жизнью:

Какова кисла рябина,—
Таково житіе за старымъ (С., II, 366).

Ты надкушай, моя радость,
Горькой ягоды рябины:

Каково кушать рябина,—
Таково житіе за младымъ (С., II, 367).

Грустный тонъ ея значенія поддерживается, вѣроятно, и существованіемъ особаго вида рябины—„плакучей“—„формы со свѣшивающимися внизъ вѣтвями“ ³⁾. Что она была замѣчена народомъ, хотя въ пѣсняхъ нѣтъ названія „плакучая“, доказываются, во-первыхъ, разведеніемъ этого вида рябины въ садахъ, а во-вторыхъ—упоминаніемъ въ одной изъ приведенныхъ пѣсней о томъ, что „безъ вихрю рябина къ землѣ клонится“. Интересна для насъ еще одна пѣсня:

Вдоль по Рябинкѣ, вдоль да по Дунаю,
Свѣзка да бѣла, вдоль по тихому,
Въ терему ли дѣвушка слезно плачетъ... (С., IV, 619).

Это мѣсто совершенно аналогично съ тѣми, на которыя мы указывали при разборѣ черной смородины: тамъ—рѣка Смородина; здѣсь—Рябинка. Что касается до двойного названія—и Дунай и Рябинка, то нужно замѣтить, что въ произведеніяхъ народа „Дунай“, кромѣ собственнаго имени извѣстной рѣки, часто означаетъ рѣку вообще ⁴⁾. То обстоятельство, что рѣки получаютъ имена отъ растений, не представляетъ ничего особеннаго. Можно привести цѣлый рядъ случаевъ, когда названія растений становятся собственными именами мѣстностей и даже людей ⁵⁾. Въ нѣсколькихъ пѣсняхъ мы находимъ упоминаніе про „рѣчку тѣнову, рябинову“ (III., 339); иногда она называется нѣ-

¹⁾ *Флоринскій*, стр. 11.

²⁾ *Флоринскій*, стр. 17.

³⁾ *Гобманъ*, Ботан. атл.

⁴⁾ *Аванасевъ*, Поэт. возвр. слав., т. II.

⁵⁾ *Гель* стр. 113 и 362, прим. 51; *Мандельштамъ*, стр. 42.

сколько иначе—„рѣка тиновата, рѣка ребиновата“ (Ш., 513). Нельзя навѣрно сказать, отъ „рябины“ произведены эти прилагательныя, или отъ „ряби“. Но думается, что и самое названіе рябины образовалось въ связи съ представленіемъ ряби. И въ нѣкоторыхъ повѣрьяхъ нашего народа мы встрѣчаемъ рябину¹⁾; ниже, въ связи съ другими растеніями, мы еще коснемся этого вопроса.

*Вишня*²⁾ сопоставляется, подобно калинѣ, преимущественно съ дѣвушкой (С., IV, 112); по дѣвственность здѣсь не играетъ роли. Осуждая дѣвушку за ея легкомысленное поведеніе, ей ставятъ въ вину, что она

Семь ночей дома не сыпала,
Въ осьмую ночь не ночевала,
Въ зеленомъ саду гуляла.
Сладкое вишенье щипала (С., II, 95).

Цѣлый рядъ пѣсенъ изображаетъ молодца подѣ видомъ сокола, который летаетъ по вишенью: онъ не только любитъ дѣвушку, но и сватается за нее (Ш., 1654, 2168). Соколы клюютъ вишни — молодецъ ухаживаетъ:

Журилась галунка въ саду;
„Кто у меня въ саду побывалъ?
Кто мои вишни поклевалъ?...
Пролеталъ ясный соколъ:
„Не журишь, галунка!
Я у тебя въ саду побывалъ,
Твои вишни поклевалъ“... (Ш., 2069).

Певѣста на дѣвичникѣ, обращаясь къ родителямъ, такъ причитаетъ:

... Что за садъ стоитъ, что за вишенье?
Въ саду-то ли во вишенѣ
Не бѣлая-то ли лебедь возгарнула,
Не я-то ли, горюха горькая,
Предъ подружками восплавула? (Ш., 2148).

Вблизи сада и вишенья происходятъ свиданія влюбленныхъ:

Мимо саду, мимо саду,
Мимо вишенія,

¹⁾ Шейнъ, стр. 780, 1 стб.; Аванасъевъ, стр. 388; 392 и др.; *Мандельштамъ*, стр. 259—260.

²⁾ Ш.—305, 1654, 2069, 2148, 2150, 2168, 2181, 2315; С.—II, 47, 95, 96, 273, 634; Ш., 319 и мн. др.

Ходить гулять молодчикъ
Со дѣвицею (С., III, 319).

Символика вишни (*Prunus Avium*, *cerasus* и др.) образовалась совершенно тѣмъ же путемъ, какъ и другихъ разсмотрѣнныхъ растений: бѣлые цвѣты и, особенно, красные плоды вели къ ассоціаціи вишни и „бѣлолицка“ „красной дѣвицы“:

Охъ, да какъ на улицѣ дѣва,
Охъ, да разыгралась молодая,
Охъ, да будто вишенька налитая (С., IV, 634).

Красный цвѣтъ и сладость плодовъ вели къ связи вишни со „сладостнымъ“ чувствомъ любви; ничто въ этомъ деревѣ не давало повода къ мрачнымъ представленіямъ и, потому, символика вишни не касается грустныхъ мотивовъ: ея сфера молодости, веселья, любви, счастья.

Теренъ ¹⁾, или терновникъ (*Prunus Spinosa*), встрѣтился намъ всего въ двухъ пѣсняхъ съ чрезвычайно неяснымъ содержаніемъ. Повидимому, въ обѣихъ дѣло идетъ о разлукѣ съ любимымъ человѣкомъ:

Теренъ, теренъ зеленой,
Не разстался бъ я съ тобой!
Тамъ ѣхала коляска;
Въ коляскѣ дѣвица.
Сколько дѣвка ѣхала,
Столько дѣвка плакала... (С., IV, 41).

Вторая пѣсня (С., IV, 45) представляетъ вариантъ приведенной; укажемъ еще выраженіе „тернистый путь“, въ значеніи путь тяжелый и горестный, что вполне гармонируетъ съ качествами растенія: это — обильно устѣянный колючками кустарникъ съ черновато-синими плодами, величиною съ небольшую вишню, и при томъ теркими на вкусъ.

Роза ²⁾ въ большинствѣ пѣсенъ, въ которыхъ она встрѣчается (а встрѣчается она сравнительно рѣдко), называется „алой“; ея цвѣты или „розовы“, или „алы-розовы“. Этимъ подчеркиваніемъ народъ указываетъ на отличительный признакъ, привлекшій къ себѣ его вниманіе. Намъ уже не разъ приходилось указывать, что красный цвѣтъ ассоціируется съ дѣвичествомъ и любовью, а потому, и алая роза — символъ любви: огонь и красный цвѣтъ, какъ мы упоминали, тѣсно свя-

¹⁾ С.—IV, 44, 45.

²⁾ III.—362, 432, 678, 519, 831, 1216, 1572, 1921, 2110; С.—III, 271; IV, 174, 581, 605, 762.

зываются въ народномъ представленіи; а чувство любви издавна ассоціировалось съ представленіемъ огня, на что указываютъ такія выраженія, какъ пылъ, жаръ, огонь любви; горячее чувство любви; огонь и жаръ сушать—„сушить“ и любовь. По словамъ Даля, „алый“ говорятъ болѣе о предметахъ и о цвѣтѣ пріятномъ, почему и милого друга зовутъ „аленькимъ дружкой“; изъ чего образовалось привѣтливое „алуша“—дружокъ. Значить, красный цвѣтъ, особенно цвѣтъ цвѣтовъ, служить символомъ какъ любви, такъ и ея объекта. Роза, въ качествѣ символа, издавна извѣстна у разныхъ народовъ ¹⁾. Въ нашихъ пѣсняхъ ея значеніе выдержано довольно устойчиво. Въ одномъ величаныи жениху мы видимъ, напримѣръ, слѣдующее:

Сорываетъ съ розы розовый цвѣтокъ.
Онъ цвѣту, цвѣту дивуется,
Красотѣ своей любится:
Сколько ты, цвѣточекъ, нѣжень и хорошь.
А я, молодецъ, холостъ не женатъ (III., 1572).

Между тѣмъ молодецъ, по замѣчанію собирателя пѣсенъ, „долженъ взадъ и впередъ ходить по избѣ, и въ то время, какъ дѣвьи поютъ: „сорываетъ съ розы розовый цвѣтокъ“, женихъ срываетъ съ плечъ своей невѣсты платокъ и начинаетъ ею и собою любоваться“. Роза, „роза-цвѣтъ“ употребляется въ пѣсняхъ, какъ ласкательное. „Ты, Наташа, роза-цвѣтъ“, поется, напримѣръ, о любимой дѣвушкѣ (С., IV, 581). Въ одной изъ пѣсенъ мы встрѣчаемся съ „Рожей“, какъ собственнымъ дѣвичьимъ именемъ. Ее любить молодецъ, за котораго не хотятъ ее выдать:

„Сватался Иванка за красную Рожу.
Рожушки не отдали, Иванкѣ отказали“ (III., 1246).

Мать посылаетъ дѣвушку въ садъ—„розу алую щипать“, что она исполняетъ съ неохотой: она какъ бы разстается со своей веселой дѣвичьей жизнью—къ ней приходитъ ея милый („молодчикъ молодой“) и приноситъ „съ руки перстень золотой“ (III., 482). Ломать „алы-розовы цвѣты“—видѣться съ милой и пользоваться ея взаимностью:

Приломили алы-розовы цвѣты.
Приломили розовы цвѣты...
Шель я, видѣлъ много пташекъ на кусту:
Съ куста на кустъ перелетывали.

¹⁾ Гельм. стр. 133 и 131.

Одна пташка ничего не говоритъ,
А другая цѣлованье завела;
Цѣловались-миловались съ дружкомъ часъ (С., IV, 605).

Вотъ, почти все, что намъ даютъ пѣсни относительно розы; скудость матеріала, конечно, происходитъ не потому, что роза перестала дѣйствовать на воображеніе народа. Вовсе нѣтъ! Въ пѣсняхъ Южной Россіи она встрѣчается гораздо чаще, такъ какъ тамъ, въ болѣе теплой полосѣ, роза не требуетъ за собою такого ухода, какъ въ Великороссіи, и народъ всегда ее имѣетъ передъ глазами. Суровыя климатическія условія сѣверныхъ губерній неблагоприятны для ея культуры, а жители, всецѣло занятые вопросомъ о пропитаніи, не могутъ удѣлять времени для заботы о ней: другой климатъ—другія условія жизни—другіе образы въ творчествѣ.

Шипица ¹⁾, шиповникъ (*Rosa canina*), упоминается въ пѣсняхъ еще рѣже, чѣмъ роза: намъ она встрѣтилась всего въ двухъ-трехъ пѣсняхъ. Онѣ содержатъ разсказъ о намѣреніяхъ дѣвушки, въ случаѣ выхода замужъ за старика,—она собирается устроить ему тяжелую жизнь:

Постельку постелю,
Въ три рядочка кирпичу,
Въ четверту шипицу,
Въ пятый рядикъ крапиву,
Шипючючка колюча,
Крапивушка жалюча (Ш., 404).

Въ другой пѣснѣ она собирается повѣсить мужа

На осинушку на горькую,
На шипицу на колючую (Ш., 888).

Народъ не только въ пѣсняхъ упоминаетъ о колючкахъ шиповника; въ одной изъ загадокъ онъ такъ изображается: „Древо латынско, лапы богатырски, когти дьявольски“. Самое названіе—шипица—уже указываетъ на отличительный признакъ, обратившій на себя вниманіе народа: онъ-то, разумѣется, и долженъ былъ отразиться на характерѣ ассоціацій. Рѣдкое упоминаніе шиповника въ пѣсняхъ объясняется тѣмъ, что у народа было передъ глазами нѣсколько растений, близкихъ по своимъ свойствамъ къ шипицѣ и при томъ встрѣчающихся гораздо чаще; таковы репей и крапива, какъ указываетъ самъ народъ:

¹⁾ Ш.—404, 888, 1154 и друг.

крапиву онъ ставитъ въ пѣснѣ рядомъ съ шиповникомъ, а репей вмѣстѣ съ нимъ служитъ отвѣтомъ на вышеприведенную загадку. Къ нимъ мы еще вернемся ниже.

Береза ¹⁾ является однимъ изъ наиболѣе распространенныхъ образовъ; она сопоставляется, преимущественно, съ женщиной, въ періодъ ея перехода отъ дѣвчества къ замужеству. Береза дѣвица-невѣста, за которую сватается дубъ-женихъ:

На горѣ дубочникъ понумливаетъ,
Бѣлую березу поколыхиваетъ:
„Бѣлая береза, наклонись ко мнѣ!“
— „Рада-бъ я, дубочникъ, наклонулася,
Сѣрыя коренья въ землю вросли“ (Ш., 1978).

Береза шатается, наклоняясь къ землѣ, и на ней „кокуетъ кокушечка“— „тужить, плачетъ дѣвица“ о своемъ горѣ (Ш., 1224). Этотъ образъ, какъ извѣстно, очень распространенъ въ народныхъ пѣсняхъ; наклоненіе всѣхъ вообще деревьевъ къ землѣ, а въ томъ числѣ и березы, выражаетъ печаль, тоску, горе и т. п. (С., I, 343, С., II, 465). Въ одномъ свадебномъ причтаніи мы находимъ другую картину; сестра говоритъ невѣстѣ:

„Ты снеси свою красу на березу бѣлую,
На березу бѣлую, на кудряво дерево!“ (Ш. 1782).

Обвиваліе „воли-красоты“ вокругъ березы сулитъ „жизнь ровное“:

Если ты обвилась красота,
Вкругъ березоньки-то бѣлыя,—
Мнѣ житье-то будетъ ровное,
Жизнь долговѣчное (Ш., 2185).

Интересна одна пѣсня, вводящая насъ въ кругъ народныхъ суевѣрій: дѣвушки идуть за вѣниками для свадебной бани; подходятъ къ первой березѣ—

„Перва бѣла березонька
Со корня посыхала,
Со вершины позябала“....

¹⁾ Ш.—614, 627, 628, 810, 904, 910, 1199, 1202—1204, 1224, 1238, 1266, 1340, 1351, 1384, 1389, 1408, 1409, 1435, 1455, 1530, 1782, 1786, 1821, 1823, 1832, 1978, 2116, 2185, 2293, 2524; С.—I, 343, 420—422, 429, 430; II, 347, 348, 350, 384, 464, 465, 531, 533 и др.; III, 36, 106; IV, 157—161; V, 257 и мн. др.

Къ другой подходятъ—„сидитъ горька кукушечка“....

„Пришли красныя дѣвицы
Ко третей бѣлой березонькѣ:
Прутѣя витѣя шелковѣя“ (Ш., 1530).

Только тутъ онѣ ломаютъ вѣтви—здѣсь нѣтъ зловѣщихъ предзнаменованій; вода для бани берется съ подобными же предосторожностями. Изъ этой пѣсни, кажется, ясно видно, что символика сохраняетъ свой характеръ и въ народныхъ суевѣрїяхъ.—Побѣги дерева сопоставляются съ дѣтьми, а самое дерево—съ родителями: невѣста словами пѣсни говоритъ своей матери:

Ты постой, береза, безъ верха,
Поживи матушка безъ меня (Ш., 1821).

Та же параллель съ березой прилагается и къ отцу:

Повѣхала Гапуля со двора,
Сломилъ березеньку съ верха.
„Стой, моя береза, безъ верха,
Живи, мой батюшка, безъ меня“.... (Ш., 2116)

Въ другой пѣснѣ дѣвушка прямо объясняетъ:

Ужъ какъ бѣлая березонька—
Это мой родимый батюшка (Ш., 1384).

При входѣ жениха въ избу, невѣста причитаетъ между прочимъ:

Не верба-ли въ избу клонится,
Не береза-ли Богу молится?...
Молится, да покланяется
Ужо тотъ, да чужой чуженецъ... (Ш., 2293).

Подъ бѣлой березой находитъ себѣ могилу несчастная женщина, убитая мужемъ (Ш., 904); здѣсь умираетъ воинъ, и здѣсь же его оплакиваетъ любящая его дѣвушка (С., I, 420). Надъ умершимъ воиномъ вырастаетъ бѣлая береза, и его мать кукушкой прилетаетъ и горюетъ на ней (С., I. 430).

Мы, кажется, не ошибемся, если скажемъ, что первоначально береза сопоставлялась преимущественно съ женщиной, а потомъ уже стала противопоставляться и мужчине, подобно тому, какъ это произошло и съ яблоней. Справедливость этого предположенія подтверждается, съ одной стороны, рѣдкимъ употребленіемъ березы въ качествѣ мужского и частымъ въ качествѣ женскаго символа; а съ

другой—тѣмъ признакомъ этого дерева, на который опирается ассоціація представленій березы и женщины. Береза чуть ли не постоянно называется „бѣлой“, но этимъ признакомъ народъ, какъ мы знаемъ, перѣдко характеризуетъ и женщину. Въ одной изъ пѣсенъ мы находимъ даже прямое указаніе на то, что сопоставленіе шло именно такимъ путемъ; невѣста обращается къ своимъ роднымъ:

Посмотрите-ка, родимые,
На мое лицо бѣлое,—
Какъ берѣстечка бѣлое,
Зла тоска на немъ написана (Ш., 1408).

Въ характерѣ значенія березы нужно отмѣтить нѣкоторую двойственность: иногда она—символь ровнаго житія для женщины, но иногда связывается и съ образами печали и слезъ. Объясненіе этому мы находимъ (кромѣ разныхъ положеній, въ которыхъ ставитъ народъ березу) въ существованіи разныхъ видовъ этого дерева. Подъ березой, какъ видно изъ нѣкоторыхъ пѣсенъ, разумѣется *Betula alba*: она „тонка, бѣла, высока“ (С., I, 421); среди этого вида встрѣчаются отдѣльные индивидуумы, съ повислыми вѣтвями—плачущая береза, которая и послужила, какъ можно думать, для народа реальнымъ основаніемъ къ тому, чтобы отмѣтить наклоненіе березы къ землѣ въ знакъ печали. Какъ дерево, близко стоящее къ народной жизни и къ народнымъ нуждамъ, береза является и объектомъ нѣсколькихъ загадокъ. „Есть древо“, гласитъ одна изъ нихъ: „крикъ унимаетъ, свѣтъ наставляеть, больныхъ исцѣляетъ“; деготь, лучина, береста и проч.—все это предметы первой необходимости. Въ нѣсколькихъ пѣсняхъ мы встрѣчаемъ, въ качествѣ поэтическаго образа, березовую лучину: проводится параллель между ея горѣніемъ и горькимъ чувствомъ женщины, одинокой въ домѣ свекрови:

Лучина, лучинушка березовая!
Что же ты, моя лучинушка, не ясно горьшь?...
—Лютая свекровушка въ печку лезла,
Меня, горькую лучинушку, всея залила (С., II, 557).

Въ связи со значеніемъ березы, какъ кажется, нужно поставить и то, что она, „какъ отвѣтъ свахѣ, означала согласіе“, между тѣмъ какъ „сосна, ель, дубъ — отказъ“ (Даль): береза, вѣдь, въ большинствѣ пѣсенъ является образомъ невѣсты и замуженой.

Любопытны обычаи, связанные съ березой; они приурочиваются къ празднованію Семика и Троицына дня. Здѣсь не мѣсто входить въ

разсмотрѣніе этихъ празднествъ, но для насъ необходимо установить тотъ фактъ, что эти обряды не только не противорѣчатъ основному значенію березы, но напротивъ—вполнѣ ему соотвѣтствуютъ и тѣмъ подтверждаютъ наше мнѣніе о связи символовъ съ обычаями. „Завиваніе“ и „снаряженіе“ березки является чисто женскимъ, дѣвичьимъ праздникомъ; парни большою частью не присутствуютъ. Все дѣлается втихомолку, безъ всякаго шума и пѣсенъ, въ особенности же дѣвушки скрываютъ завитую березу отъ крестьянскихъ парней, которые зорко поглядываютъ за ними, и стоитъ имъ только увидать завитую березку, какъ они ее срубаютъ и уносятъ къ себѣ¹⁾. Интересно и то восклицаніе, которымъ сопровождается бросаніе березки въ воду: „тони семикъ, топи сердитыхъ мужей!“ Здѣсь же собиратель нѣсколько туманно замѣчаетъ: „мужскому полу та же березка бываетъ противна: если кто-нибудь немного наскандальничалъ въ семикъ, то семикъ предастъ несчастнаго уже въ руки березкѣ. А чаще всего попадаетъ ей въ руки женскій полъ въ замужествѣ“²⁾. Все это не можетъ выяснитъ, разумѣется, значенія праздника³⁾—для этого нужно особое изслѣдованіе,—но все же ясно, что тутъ идетъ дѣло о женской долѣ. Какъ-то само собою навязывается сопоставленіе завиванія березки со врученіемъ ей, согласно пѣснямъ, дѣвичьей „красоты“: въ послѣднемъ случаѣ обвиваніе „красоты“ вокругъ березки—предзнаменованіе ровнаго, долготѣннаго житья, а въ первомъ—сохраненіе завитыхъ вѣтвей березы свѣжими—предзнаменованіе въ хорошую для завившей сторону. Кромѣ того, также въ Семикъ и Троицу происходятъ гаданія при помощи вѣнковъ—этихъ символовъ дѣвственности. Все это, вмѣстѣ взятое, указываетъ, что эти празднества связывались съ судьбой женщины, съ вопросомъ объ ея будущей жизни: здѣсь рѣшался какой-то своеобразный „женскій вопросъ“.

*Ель и сосна*⁴⁾ стоятъ въ тѣсной связи другъ съ другомъ; даже больше—онѣ почти что отождествляются одна съ другой. Въ самомъ дѣлѣ, вотъ какъ изображается дѣвушка не имѣющая отца:

¹⁾ Шейнъ, стр. 314.

²⁾ Тамъ же, стр. 315 (запись крестьянина).

³⁾ Объяснитъ его пытаются, между прочимъ, Аванасьева (II. возр. II т. 321—322 стр.) и Мандельштамъ (стр. 213—214).

⁴⁾ III.—454, 639, 1690, 1697, 1878, 1920, 1942, 1953, 1981, 2019, 232; С.—I, 216, 218, 219 и др., 274, 275, 317, 310, 377, 378. 121, 462; II, 41, 103, 109, 315, 502, 589; III, 46, 110, 220 и др.

Охъ ты елка, ты елка, сосенка!
 Всѣ ли на тебѣ, елка, сучья, вѣточки?...
 Всѣ ли на мнѣ сучья, вѣточки,
 Только нѣтъ одной макушечки (Ш., 1942).

Подобная же картина изображаетъ дѣвушку, у которой нѣтъ матери (Ш., 1953). Здѣсь ель-сосна сопоставляется съ дѣвушкой; это подтверждается и другими пѣснями:

Состоятъ дѣвечко тонко вѣсоко,
 Стоитъ сосенка подсоеная,
 Сидитъ дѣвушка сговоренная (Ш., 2330).

Въ образѣ сосны представляетъ народъ и молодую женщину:

Сосенка, сосенушка зелененькая!
 Чего ты, сосенушка, не зеленая?...
 Молодка, молодушка молоденькая!
 Чего ты, молодушка, не веселая? (С., II, 589).

Елку мы встрѣчаемъ въ свадебныхъ обычаяхъ: дѣвушки вносятъ ее, украсивъ лентами, въ ту комнату, гдѣ сидитъ невѣста, и послѣдняя обращается къ ней съ причитаньями, въ которыхъ очень рѣдко упоминается самая елка: мы видѣли тутъ яблоню, грушу, рябину, березу; но только въ одной пѣснѣ — елку; на нее опускается дѣвчья „воля“, когда дѣвушка выходитъ замужъ:

Она сѣла-то на елочку
 И на елочку на зеленую (Ш., 1697).

Между тѣмъ въ другихъ пѣсняхъ невѣста кладетъ свою „коронку“, изображающую „волю-красоту“ противъ елки, а сама говоритъ:

И спесу да мою красоту
 Да во теплыя-то стороны,
 Положу ее на яблоньку садовую
 И на грушницу зеленую (Ш., 1693).

Иногда, обращаясь къ елкѣ, невѣста называетъ ее своей „волей“; по этому поводу собиратель пѣсенъ вскользь замѣчаетъ: „олицетвореніе воли въ коронкѣ, а за послѣднее время также и въ елкѣ“¹⁾. Все это указываетъ на какое-то смѣшеніе представлений, особенно если принять во вниманіе другія пѣсни и нѣкоторые взгляды народа на ель-сосну. На ней сидитъ „птишка вольная—горе-горькая сидитъ

¹⁾ Шейнъ, стр. 520, 2 выноска.

кокушка“; она съ жалобными причитаніями смотритъ подъ дерево, а тамъ лежитъ убитый „дѣтинушка“, и проситъ оиъ, чтобы „елинушка“ закрыла его своими вѣтвями (С., I, 378). Въ другой пѣснѣ, такого же почти содержанія, ель описывается мрачными красками:

Туть стояло несчастное древо,
Тонкое, высокое, по прозванью матушка елина;
Съ корешку древо по паридно,
Со середи древо свилевато,
Со вершинушки древо кудревато (С., I, 377).

„Подъ елкой, подъ ветелкой стоитъ хижинка нова“, и тамъ живетъ „горькая вдова“ (С., I, 340). Ель служитъ матеріаломъ для послѣдняго жилища человѣку:

Роютъ, роютъ моголаушку,
Елинушку тешутъ,
Молодому полковничку
Дожовину строятъ (С., I, 424).

Что же касается до сосны, то она тоже очень часто является въ самыхъ мрачныхъ картинахъ. Къ ней, напримѣръ, привязываетъ донской казакъ „шишкарочку“ и сжигаетъ вмѣстѣ съ сосной (С., I, 216, 217 и др.). Мрачное значеніе ели и сосны подтверждается еще одной очень характерной пѣсней; дѣвушка говоритъ о своихъ заботахъ о будущемъ мужѣ-старикѣ:

И я старому нирогъ песнеку:
Еще корочка еловая,
А начиночка сосновая,
А помазочка смоленая (С., II, 315).

Любопытно замѣчаніе, встрѣченное нами въ одномъ лечебникѣ: „Сосна есть древо естествомъ сухотно и черви его не ядятъ, якоже пныхъ дръвъ. Стѣпь отъ того древа вредительна есть тѣлу человѣческому“¹⁾. Эта замѣтка вполне совпадаетъ съ тѣмъ печальнымъ значеніемъ, которое приходится признать за сосной на основаніи всѣхъ приведенныхъ данныхъ. Но какъ же примирить тогда съ этимъ появленіе елки въ свадебныхъ обрядахъ? Очевидно, въ нихъ ель взята вмѣсто другого дерева—березы, яблони и т. д., являющихся женскими образами. На это указываетъ приведенная уже пѣсня (III., 1693), гдѣ невѣста обращается къ елкѣ, какъ къ яблонѣ; а кромѣ того — и

¹⁾ *Флоринскій*, стр. 116.

сообщенія этнографовъ относительно времени свадебъ: онѣ справляются, большею частью, зимой ¹⁾). Поэтому, понятно, что ель, какъ единственное зеленое въ это время дерево, кромѣ сосны, у которой хвоя все же темнѣе, замѣняетъ собою какое-нибудь лиственное дерево ²⁾). Но если это такъ, если для ели и сосны остается только печальное значеніе, то спрашивается, какъ оно могло образоваться. Отвѣтить на это довольно трудно, такъ какъ пѣсни не даютъ намъ почти никакого разъясненія на этотъ счетъ. Впрочемъ, въ двухъ пѣсняхъ можно видѣть намекъ на то, что особенно поразило народъ въ ели-соснѣ. Въ одной изъ нихъ предлагается загадка: „Да что цвѣтеть да безъ цвѣта“? И такъ отгадывается: „Цвѣтеть сосна безъ алаго цвѣту“ (С., I, 462). Въ другой пѣснѣ спрашивается:

Что же ты, сосенка,
Не зелена стопшь,
Не лазорево цвѣтешъ. (С., II, 502).

Въ одномъ мѣстѣ, однако, цвѣтъ сосны отмѣчается согласно съ дѣйствительностью: зеленая сосенка, желтый цвѣтъ! (Ш., 1936). Но этотъ цвѣтъ такъ непохожъ на обычные для растений, ярко-окрашенные цвѣты, да и самая хвоя, съ ея сѣровато-зеленой окраской, очевидно, останавливала на себѣ вниманіе народа. Въроятно, и иглы, составляющія хвою, не остались безъ вліянія на характеръ образа; въ одной пѣснѣ „заенько“ на вопросъ, почему онъ не спрятался подъ елку, дать такой отвѣтъ:

Какъ на елкѣ иголки, —
Боюсь: уколюсь (Ш., 349).

Все это общіе для сосны (*Pinus silvestris*) и ели (*Picea vulgaris*) признаки, заставившіе ихъ почти что отождествиться въ произведеніяхъ народнаго творчества, почему онѣ и получили одинаковое значеніе. На его характеръ, конечно, кромѣ приведенныхъ причинъ, главнымъ образомъ, вліяло положеніе сосны и ели среди прочихъ явленій природы. Почти не измѣняя ни лѣтомъ, ни зимой своего вида, обѣ онѣ должны были производить на народъ странное впечатлѣніе, что и отразилось въ народныхъ пословицахъ—„зимой и лѣтомъ однимъ цвѣтомъ“ и др. По смѣшеніе въ свадебныхъ обрядахъ съ другими де-

¹⁾ Шейнъ, стр. 708.

²⁾ Къ этому же выводу приходятъ и Костомаровъ, *Бесѣда* 1872 г., VIII, стр. 70.

ревьями немного смягчило ихъ печальное значеніе. Поговорка „вѣнчали вокругъ ели, а черти пѣли“, конечно, никогда не имѣла реальнаго значенія; никогда, разумѣется, не происходило вѣнчанія вокругъ ели, какъ таковой; но она могла замѣнить другое дерево. Есть указанія, что иногда „обручались — кругъ ракитова куста вѣнчались“. Кромѣ того, Аванасевъ приводитъ и еще доказательство существованія вѣнчанія вокругъ деревьевъ, именно — вокругъ завѣтныхъ дубовъ среди нашихъ раскольниковъ ¹⁾. Вѣнчаніе же вокругъ ели, кажется, является въ поговоркѣ не больше, какъ насмѣшкой надъ остатками язычества.

Осина ²⁾ (*Populus tremula*) близко примыкаетъ къ соснѣ и ели по характеру своего значенія. Чаще всего она встрѣчается въ пѣсняхъ, содержаніемъ которыхъ служитъ несчастная жизнь замужней женщины:

„Какова горька осина?
Таково житье со старымъ“ (Ш., 410).

Горькая жизнь замужемъ за разбойникомъ изображается такъ:

Заросла моя полосонька
Топкимъ ельничкомъ, березничкомъ,
И горькимъ мелкимъ осинничкомъ... (С., 1, 212).

Жена повѣсила своего старика-мужа —

На осинушку на горькую,
На шипицу на колючую,
На крапивушку жегучую (Ш., 888).

Шипица и крапива упоминаются тутъ, конечно, для того только, чтобы подчеркнуть мрачное значеніе осины: ни на шиповникѣ, ни на крапивѣ повѣсить нельзя, и это чисто символическій образъ. Этотъ мотивъ о повѣшеніи мужа женой повторяется въ многихъ пѣсняхъ (С., II, 53, 120 и др.). Подобно тому, какъ мы видѣли, что обвиваніе дѣвической „красоты“ вокругъ яблони предвѣщаетъ хорошее, богатое житье; а обвиваніе вокругъ березы — ровное и долгодѣнее; такъ обвиваніе вокругъ осины предсказываетъ тяжелую жизнь замужемъ:

¹⁾ *Аванасевъ*, т. II, стр. 321—325.

²⁾ Ш.—410, 888, 1266, 1384, 1735, 2185; С.—1, 198, 205, 212; II, 53, 120, 185, 327, 328 и др.; III, 36; IV, 225, 331 и друг.

Если ты обвинялась, красота,
 Вдругъ осинушки-то горькія, —
 Миѣ житье-то будетъ горькос,
 Миѣ замужье, красной дѣвицѣ,
 Не хорошее, печальное (Ш., 2185).

Горюющая дѣвушка тоже сопоставляется съ осиной; сравнивая отца съ березой, а мать съ яблоней, невѣста себя называетъ горькой осиной:

Ужь какъ осина-то горькая —
 Это я бѣдна-горькая (Ш., 1384).

Въ разлукѣ съ другомъ дѣвушка тоскуетъ и слышитъ, какъ шумятъ въ лѣсу осиновыя листья:

Шумать-гремятъ листочки, осины говорятъ;
 Бѣлая моя березонька, приклонясь къ землѣ, стоить (С., III, 36).

Шумъ листьевъ вообще, а не только осиновыхъ, ассоціируется въ представленіи народа съ тоской, печалью. Въ одной пѣснѣ мы находимъ обращеніе тоскующей дѣвушки къ листьямъ:

Безъ вѣтру листы шумать.
 Не шумите вы листочки
 Въ моемъ зеленомъ саду (Ш., 687).

Отчего же шумъ листьевъ связывался у народа съ тягостнымъ душевнымъ состояніемъ? Шумъ лѣса и деревьевъ обуславливается неспокойнымъ состояніемъ воздуха — вѣтромъ, и это волненіе въ природѣ человекъ какъ бы отождествлялъ со своимъ внутреннимъ неспокойнымъ состояніемъ, отсюда такія олицетворенія, какъ „вьюга злится, вьюга плачетъ“. Боги бури, грозы и т. д. явились гораздо позднѣе, а сначала сама природа и ея явленія были живыми: она сама гнѣвалась, печалилась и веселилась. Если шумъ деревьевъ вообще былъ явленіемъ зловѣщимъ, то тѣмъ болѣе шумъ осиновыхъ листьевъ. Это, вѣдь, шумъ „горькаго“ дерева и при томъ шумъ особенный. Въ одной пѣснѣ осиновымъ листомъ называется тоскующій по дѣвицѣ молодецъ:

Сохнетъ по дѣвушкѣ дружечекъ,
 Тоненькій осиновый листочекъ... (С., II, 185).

Осина вездѣ соединяется съ горемъ; подъ ней разстаетъ молодецъ со своей возлюбленной:

Совыкались мы съ тобою подь бѣлой березою;
 Разставались мы съ тобою подь горькой осиною.
 Осинушка горька, горька, разлука горче... (С., IV, 225).

Эта послѣдняя строка какъ бы указываетъ на путь, которымъ шло образование символа. Горечь осины подчеркивается народомъ, и она-то могла лечь въ основаніе ея печальнаго значенія. Но тутъ возникаетъ вопросъ, что значить „горькая осина“ — горькая на вкусъ или печальная, горестная и т. п. Ея корой натираютъ съ разными обрядами десны отъ зубной боли ¹⁾, такъ что ея горечь можетъ быть извѣстна и можетъ противопоставляться сладости „березовицы“. Но возможно, что „горькая“ вовсе не указываетъ на вкусовое ощущеніе, и тогда это нисколько не объясняетъ происхожденія символа. Въ пѣсняхъ осина называется также и „безсчастной“:

Срубленная наша кроватушка
 Изъ безсчастнаго изъ дерева —
 Изъ горькой изъ осины (С., IV, 334).

Здѣсь „горькая“ и „безсчастливая“ являются какъ будто синонимами; но навѣрно установить значеніе слова „горькая“ въ приложеніи къ осинѣ врядъ ли возможно.

Но и другія свойства осины должны были повліять на установленіе за ней печальнаго значенія. Ея отличительнымъ, бросающимся въ глаза свойствомъ является постоянное трепетаніе листьевъ, сопровождаемое вслѣдствіе твердости листы очень замѣтнымъ шумомъ, замѣтнымъ особенно въ тихую погоду, когда листья на другихъ деревьяхъ висятъ почти неподвижно. Что объясняется просто особымъ устройствомъ черешковъ, то народу казалось загадочнымъ: для него становилось очевиднымъ, что въ осинѣ есть что-то злое: „одно проклятое дерево безъ вѣтра шумитъ“, говоритъ народъ, отмѣчая тѣмъ поразившее его явленіе. Даль указываетъ, что въ народѣ, кромѣ того, говорятъ, будто на осинѣ кровь подь корою, такъ какъ кора подь кожицей красновата; это тоже могло повліять на характеръ ея значенія. Что касается до мифовъ, въ которыхъ является осина ²⁾, то нужно отмѣтить, что всѣ они, вообще говоря, носятъ тотъ же характеръ, которымъ отличается и символика этого „безсчастнаго“ дерева: оно въ силу своихъ свойствъ тѣсно связано съ мрачными картинами.

¹⁾ *Даль*, Словарь.

²⁾ *Аванасьева*, т. II, 305—308.

Ольха ¹⁾ (*Alnus*) встрѣтилась намъ всего въ двухъ-трехъ пѣсняхъ. Одна повѣствуетъ о соколѣ:

На родимую сторонку ясный соколъ прилеталъ;
Онъ на ольху молодую тихо, жалостно присѣлъ,
Онъ головушку повѣсилъ, хвостъ печально распустилъ.
Что жъ ты, соколъ мой, не весель, призадумался—сидишь?

И онъ отвѣчаетъ, что любилъ „соколиху“, но ее отбилъ „соколъ черноперый“ (С., V, 693). Другая пѣсня принадлежитъ къ разряду похоронныхъ; это плачь дочери на могилѣ матери:

Вы не вѣйте, вѣйте, витерочки!
Вы не рвите, витерочки,
Со ольшинушки вершинушокъ,
Со березыньки листочковъ! (Ш., 2524).

Этими двумя пѣснями исчерпывается весь извѣстный намъ матеріалъ, касающійся ольхи.

Ива ²⁾ какъ въ пѣсняхъ, такъ и въ обыденной жизни называется разными именами: верба, ракита, ветла и талъ — наиболѣе частыя изъ нихъ. Это и не удивительно, если принять во вниманіе, что ива (*Salix*) и въ наукѣ подраздѣляется на много видовъ: ива „чрезвычайно затруднительный родъ, именно вслѣдствіе часто встрѣчающихся помѣсей“ ³⁾. Разсматривая образы, связанные съ ивой, мы тотчасъ замѣтимъ въ ихъ характерѣ нѣкоторую сбивчивость. Подъ ракитой перѣдко происходитъ свиданіе влюбленныхъ (Ш. 539):

Я раскину бѣлъ шатерь...
... При рошницѣ зеленой,
При равитовомъ кусту... (С., I, 316)

Но тутъ же дѣвушка вспоминаетъ былое счастье: она „плачетъ, какъ рѣка лется, обнимаючи часть равитовъ кустъ“:

„Ахъ ты, батюшка, нашъ равитовъ кустъ,
Подъ тобою-ли, подъ кустикомъ,
Было попятю, погуляно,
Со милымъ дружкомъ пошжено“... (Ш., 713).

¹⁾ Ш.—2524; С.—V, 693.

²⁾ Ш.—320, 517, 538, 539, 681, 713, 782, 844, 1158, 1187, 1250, 1515, 1682, 1918, 2036, 2266, 2276, 2293, 2488; С.—I, 82, 83, 88, 103, 106, 316, 340, 356, 358, 359 и др.; II, 37—40, 115, 114, 394, 554; III, 90—92, 385 и друг.

³⁾ Э. Пестель, Для ботаническихъ экскурсій.

Въ несомнѣнно печальномъ значеніи ива является въ одномъ свадебномъ причитаніи; неvěста рассказываетъ свои мрачныя мысли.

Оборвалась, молодехонька,
Во ту-ли рѣчку быстрюю;
Какъ хваталась я, ималась,
За кусты тѣ, за таловые,
За осоку и рѣзучую;
И обрѣзало у молодехоньки
Обѣ руки бѣлыя...

Затѣмъ сама же она и разъясняетъ смыслъ всей картины:

Не въ рѣкѣ я закушалась,
А купалась, молодехонька,
Въ своихъ лишь горячихъ слезахъ;
И хваталась я, ималась,
За свое-то горе горькое;
Не осоконь мнѣ обрѣзало,
А обрѣзало у молодехоньки
Печалью лютою, великою (Ш., 2276).

Печальная женщина, горящая въ чуждой ей семьѣ ея мужа, сопоставляется съ вербой, которую вѣтеръ гнетъ къ землѣ:

Въ чистомъ полѣ вербу вѣтромъ раздуваетъ,
Вѣтромъ раздуваетъ, къ сырой землѣ приклоняетъ,
Что наша неvěстка, что, наша голубка,
Не весело ходишь, не смѣло ступаешь? (Ш., 554).

Когда неvěсту благословляютъ къ вѣнцу, она причитаетъ:

Не верба-то во полѣ качается,
Не зеленая къ землѣ склоняется, —
То красна дѣвица благословляется (Ш., 2488).

Женщина, несчастная въ замужествѣ за старикомъ, превращается въ иву:

...сама я, молода,
Скинуся вербою.
Скинуся вербою
Надъ быстрой рѣкою.

Эту вербу срубаютъ проѣзжіе купцы и дѣлаютъ изъ нея „звонки гусли“, которые должны своими звуками рассказать,

„Какъ я дѣвица плакала,
За стараго илуди“... (Ш. 1187).

Среди поля пшеницы растетъ верба, и опять — картина несчастнаго замужества:

Въ чистомъ полѣ яровая пшеница,
Во пшенишкѣ ракиновый кустикъ,
На кусту соловей пташка свистеть...
Меня ждаду, постылый мужъ кличетъ (С., III, 90).

Передъ свадьбой невѣста сажаетъ въ саду родителей вербу:

Сломаю, сломаю, дѣвушки, вербушки сучекъ,
Насажу я вербочку въ зеленомъ саду;
„Рости, рости, вербочка, аршинъ безъ вершка,
Живи, живи, батюшко, весь вѣкъ безъ меня“ (III., 2266).

Подъ ракиновымъ кустомъ лежитъ трупъ убитой мужемъ жены (С., I, 103); подъ нимъ же спать вѣчнымъ сномъ добрый молодецъ:

Что постелюшка подъ молодецъ камышь-трава,
Изголовнице подъ добрымъ — часть ракиновъ кустъ,
Одѣялечко на молодцѣ — темная ночь,
Что темная ночь холодная, осенняя (С., I, 358).

Въ одной пѣснѣ, которая уже упоминалась при разсмотрѣніи березы, молодецъ-женихъ сопоставляется съ вербой (III., 2293). „Подъ елкой, подъ ветелкой“, какъ тоже уже говорилось, живетъ „горькая вдова“ (С., I, 340). Надъ могилами молодца и дѣвицы, погибшихъ отъ яда, вырастаютъ золотая верба и кипарисъ: верба — надъ молодецъ, а кипарисъ надъ дѣвицей (С., I, 84). Образъ золотой вербы имѣетъ свое реальное основаніе; это — разновидность „бѣлой ивы“ (*Salix alba*), разновидность съ золотисто-желтыми вѣтвями, извѣстная въ ботаникѣ подъ названіемъ *Salix alba var. vitellina* — „золотая верба“; потомъ въ народѣ могло развиться — изъ чисто реального представленія — представленіе „воображаемое“ — образъ вербы изъ золота. Ракиновъ кустъ является въ одной пѣснѣ мѣстомъ рожденія горя:

Зародился горе отъ сырой земли,
Изъ-подъ камешка изъ-подъ сѣраго,
Изъ-подъ кустышка съ-подъ ракитова (С., I, 441).

Такимъ образомъ, въ большинствѣ случаевъ, ива является въ связи съ печальными картинами. Пѣсни ничего не даютъ для объясненія того, какимъ путемъ образовалось ея значеніе. Правда, неоднократно упоминается склонившаяся къ землѣ или водѣ верба, какъ будто указывающая на то, что народъ обратилъ вниманіе на суще-

ствование особаго вида ивы—на „иву плакучую“ (*Salix babylonica*), которую и теперь нерѣдко сажаютъ на могиллахъ, но этого одного еще мало, чтобы всѣ виды ивы получили печальное значеніе. Очевидно, для этого были другія неизвѣстныя для насъ причины. — Теперь намъ остается еще, хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ, коснуться вѣнчанія вокругъ ракитова куста. Это тѣмъ болѣе необходимо, что въ одной пѣснѣ есть мѣсто, которое какъ будто намекаетъ на этотъ обрядъ. Принимая подарки, присланные женихомъ, невѣста, между прочимъ, причитаетъ:

Когда принуждали меня родители,
 Мнѣ какъ да не хотѣлося,
 За ракитовъ кустъ хвататися.
 Мнѣ со вамъ, да родня, знатися (III., 1682).

Здѣсь какъ будто отождествляются двѣ картины: выходъ замужъ и хватаніе за кустъ. Оно такъ и есть, но это не имѣетъ никакого отношенія къ вѣнчанію вокругъ ракиты; здѣсь хвататися за иву значить то же, что и въ приведенной выше пѣснѣ, гдѣ таль являлся образомъ горя: бракъ—горе для дѣвушки; ее отдають и берутъ замужъ помимо ея желанія. Вѣнчаніе же вокругъ ракиты обусловлено, какъ кажется, близостью ея къ рѣкѣ или, вообще, къ водѣ, которая играетъ важную роль въ свадебныхъ обрядахъ. По лѣтописи, въ древности на Руси нерѣдко умыкали невѣсту „у воды“, а позже еще сохранялся обычай возить невѣсту „къ водѣ;“ несомнѣнно, что вода играла въ вѣнчаніи какую-то роль и при томъ не маловажную. Но вмѣстѣ съ тѣмъ играли роль и деревья; по крайней мѣрѣ, дубъ и теперь еще имѣетъ значеніе или, вѣрнѣе, остатки прежняго значенія при совершеніи вѣнчанія ¹⁾). Дубъ легко могъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ замѣняться какимъ-нибудь деревомъ и особенно ивой, которая растетъ почти вездѣ, гдѣ есть вода. Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что мы уже видѣли, какъ народъ замѣнилъ яблоню и грушу елкой, которая при этомъ потеряла свое значеніе и стала символомъ этихъ деревьевъ, принявъ, разумѣется, и свойственное имъ значеніе. То же случилось и здѣсь: вѣнчаніе вокругъ дуба замѣнилось вѣнчаніемъ вокругъ ракиты, которая потомъ и стала являться въ пѣсняхъ мѣстомъ свиданій и веселія молодежи; первоначальное значеніе подъ влияніемъ обряда стало блѣднѣть, и получилась нѣкоторая сбивчивость въ символикѣ.

¹⁾ *Мандельштамъ*, стр. 210—211.

Кипарисъ ¹⁾ встрѣчается въ пѣсняхъ довольно рѣдко; на могилѣ дѣвушки, какъ упоминалось, вырастаетъ кипарисъ. Впрочемъ, по одному варианту этой пѣсни онъ вырастаетъ надъ молодцемъ, а надъ ней—золотая верба (С., I, 83). Въ одной пѣснѣ мы видимъ прямое сопоставленіе кипариса и дѣвушки:

„Деревцо, деревцо, кипарисно!
Гдѣ ты росло, гдѣ буяло?“...
— „Дѣвица красная, Марія!
Гдѣ ты росла, гдѣ ты нѣжилася?“ (Ш., 2371).

Кипарисъ безъ листьевъ ставится въ параллель съ несчастной дѣвушкой:

Кипарисному деревцу Богъ листу не далъ,
А живъ красной дѣвушки Богъ счастья не далъ (Ш., 848).

То же обозначаетъ и шумъ листьевъ на „купарезѣ“ деревѣ (Ш., 850):

Ишла, ишла, дѣвушка гѣсомъ, но гѣсу,
Нашла, нашла красная кипарисъ дерево.
На этомъ на деревцу листьяи шумять:
Шумять, шумять листьяи, пошумливають (С., III, 33).

Въ одной пѣснѣ кипарисъ — мать молодца, которому предстоитъ отправиться въ походъ: „Кипарисъ дерево въ саду—родна матушка“ (С., III, 587). Орелъ вьеть на этомъ деревѣ гнѣздо и выводитъ птенцовъ; кипарисъ стоитъ на „оклянь-морѣ;“ поднимается буря, подмываетъ „кипарисово кореньице“ и потопляетъ „орляно тепло гнѣздушко“ и „малыхъ его дѣтушекъ;“ самъ орелъ разбивается о „бѣль горючъ камень“ (С., I, 486). Встрѣчается кипарисъ и еще въ нѣсколькихъ пѣсняхъ: въ одной упоминается о дверяхъ кипарисовыхъ, а въ другой, повидимому, онъ изображаетъ свадебную повозку:

Потихоньку, бояры, съ горы спускайтеся,
Не поломайте, бояры, кипарисна дерева!
Въ кипариснѣ деревцѣ было три угодїйца... (Ш., 1817).

Кипарисъ (*Cupressus sempervirens*) явился въ нашихъ пѣсняхъ, какъ кажется, по аналогїи съ другими деревьями. У насъ въ Великобританіи онъ былъ, очевидно, знакомъ народу только по имени; въ самомъ дѣлѣ, его названіе, чуждое русскимъ, подверглось многимъ измѣненіямъ:

¹⁾ Ш.,—848, 850, 1522, 1771, 1817. 1834, 2371; С.—I, 83, 84, 486; Ш., 33, 587 и друг.

„дерево кипарисно“ (Ш., 2371), „кипарисно“ (Ш., 1817), „тинарись дерево“ (Ш., 1771), „дерево кипарисовое“ (Ш., 1834), „купарезъ древо“ (Ш., 850) и т. п.—все это передѣлки его названія. Интересно, что народъ особенно подчеркиваетъ, что это—дерево, будто боится спутать съ другими растеніями. Все это указываетъ, что названіе кипариса занесено къ намъ извнѣ ¹⁾.

Лавръ ²⁾ (*Laugus nobilis*) тоже встрѣчается въ немногихъ пѣсняхъ и, подобно кипарису, является деревомъ чуждымъ русскому народу. Въ одной пѣснѣ лавровый листъ оказывается на травѣ, а не на деревѣ:

Сорву съ травоньки листочекъ,
Я лавровый, дорогой,
Я начну письмо писать... (С., V, 740).

Въ другой пѣснѣ, кромѣ того, листъ называется „разлавровымъ“, точно народъ указываетъ какое-то его качество, а не принадлежность извѣстному растенію (С., V, 96). Повидимому, народъ зналъ лавръ только по имени, не связывая съ нимъ никакого опредѣленнаго представленія; вѣрнѣе даже, что народъ зналъ не лавръ, а лавровые листья, такъ какъ, большею частью, именно они являются въ пѣсняхъ и рѣдко самья деревья. Образы, связанные съ лавромъ, почти тѣ же, что мы видѣли и раньше. Шумъ листьевъ и увяданіе лавра сопоставляются съ тоской дѣвушки:

Всѣ древы въ саду шумять,
Лавровы листики
Всѣ поблекши висятъ (С., III, 348).

Дѣвушка въ разлукѣ съ милымъ обращается къ голубю и предлагаетъ ему:

Сидеть вмѣстѣ съ тобой подь кустокъ,
Подь лавровый зелененькій листокъ,
Будежъ вмѣстѣ горе горевать... (С., II, 287).

Молодецъ, собираясь жениться, хочетъ выстроить теремъ и насадить „дрявь лавровыхъ“ (Ш., 735).

Липа ³⁾, хотя и является очень распространеннымъ деревомъ, однако въ пѣсняхъ встрѣчается почему-то очень рѣдко. По этимъ не-

¹⁾ Въ Греціи съ кипарисомъ былъ связанъ мифъ; см. *Мандельштамъ*, стр. 54.

²⁾ Ш.—687, 735; С.—II, 287; III, 348; IV, 45, 541; V, 96, 97, 662, 740 и др.

³⁾ С.—I, 9, 247; II, 319—321; V, 211 и друг.

многимъ случаямъ нельзя почти установить ея значенія. Въ одномъ, напримѣръ, мѣстѣ она сонаставляется какъ будто съ мужчиной:

Какъ ни бѣлая березонька
Со липой свивалась;
Какъ въ пятнадцать лѣтъ дѣвица
Со молодымъ свивалась (С., V, 211).

Другія пѣсни даютъ еще меньше. Подъ липой, въ шатрѣ дѣвушка задумывается надъ вопросомъ, кому достанется ея дѣвичій вѣнокъ (С., II, 320). Подъ липой же молодецъ поетъ о томъ, какъ у „Макарья на ярмонкѣ“ была убита дѣвушка, дочь „Софронова кушца“ (С., I, 247). Плаха въ одной пѣснѣ называется „липовой“: на ней погибаетъ молодецъ, и закалывается любившая его королева (С., I, 9). Наконецъ, слѣдуетъ указать, какъ рисуется народу образъ горя (С., I, 446).

Въ лантисечки горе пообулося.
Въ рогозиночки горе понадѣлося,
Понадѣлося, тонкой лычинкой подноясалось (С., I, 441).

Ограбивъ молодца, „голюшки кабацкіе“ обули ему „лапотики липовы“,

Рогожку одѣли липову...
...На головушку одѣли волпачокъ липовый (С., I, 439).

Вотъ, въ сущности, все, что намъ даютъ пѣсни касательно липы.

*Дубъ*¹⁾ встрѣчался уже выше въ нѣсколькихъ мѣстахъ; онъ являлся мужскимъ образомъ: береза изображала въ одной пѣснѣ дѣвущку-невѣсту, а дубъ — молодца-жениха (III., 1978). Это значеніе дуба довольно послѣдовательно проведено во многихъ пѣсняхъ. Тоска молодца сонаставляется съ зимней непогодой, „вызнобившей“ корни дуба:

Зима вьеть и мятеть...
...У сыра дуба кореньице повызнобило;
У меня, молодца, сердце повысушило... (С., IV, 295).

Качаніе дуба—болѣзнь молодца:

Какъ во полюшкѣ дубъ шатается,
Какъ мой милый перебогается (III., 445).

¹⁾ III.,—362, 364, 445, 473, 474, 490, 853, 1138, 1172, 1192, 1711, 1746, 1776, 1864, 1925, 1978, 1985, 2082, 2282, 2310, 2391, 2416; С.—I, 492—495; III, 140; IV, 95, 96, 295, 626 и мн. др.,

Отметимъ еще слѣдующую параллель между двумя картинами:

Сосенка, сосенушка,
Зеленая, кудрявая!
Какъ тебѣ не стошнится,
Во сыромъ бору стоячи,
На сырой дубѣ гляючи?
Молодая молодушка!
Какъ тебѣ не взгрустнется,
За худымъ мужемъ живучи,
На хорошаго гляючи? (С., III, 140).

Въ одномъ поздравленіи „волошебниковъ“ хозяину дома говорится:

Дай тебѣ Богъ сколько въ полѣ дубковъ,
Столько тебѣ сынковъ (III., 1122).

Всѣ эти пѣсни ясно проводятъ параллель между дубомъ и мужчиной; но есть и такія, въ которыхъ онъ сопоставляется съ женщиной. Дѣвушка-сирота—лишенный верхушки дубъ:

Много, много, у сыраго дуба,
Много листьевъ, много подлетьевъ,
Только нѣту у сыраго дуба,
Золотой его вершиночки.
Много, много, у Анны души
Много сродства и прителѣй,
Только нѣтъ у Анны души,
Что кормильца, родна батюшки (III., 1711).

Иногда въ подобныхъ же картинахъ верхушка дуба изображаетъ не только отца, но вмѣстѣ съ нимъ и мать (III., 1864). Нѣсколько отдѣльно отъ другихъ пѣсонъ стоитъ слѣдующая картина:

Близъ дороженьки зеленый дубъ стоитъ;
Близъ дубочка васильковы цвѣты,—
Кругъ дѣвушки удали молодцы (III., 362).

Тутъ дубъ какъ будто сопоставляется съ дѣвушкой; но возможно, что это мѣсто нужно поставить въ связь съ той ролью, какую игралъ дубъ въ обрядѣ вѣнчанія: вѣдь, здѣсь говорится о томъ, „кому дѣвица достанется.“

Первоначально, какъ намъ представляется, дубъ (*Quercus*) былъ именно мужскимъ образомъ; упроченіе за нимъ такого значенія находится, конечно, въ зависимости отъ его свойствъ, среди которыхъ на первомъ планѣ стоитъ его крѣпость, хорошо извѣстная народу:

„Держись за дубокъ: дубокъ въ землю глубока“, говоритъ пословица, оправдывая тѣмъ наименованіе дуба „могучимъ“. Поэтому, онъ болѣе всѣхъ другихъ деревьевъ былъ годенъ для изображенія мужчины, и уже только позже въ нѣкоторыхъ, довольно рѣдкихъ случаяхъ онъ сталъ обозначать женщину. Помимо разсмотрѣнныхъ пѣсней, есть цѣлый рядъ другихъ, въ которыхъ дубъ является въ особенной обстановкѣ: на немъ сидятъ два голубя и разговариваютъ, при чемъ въ величальныхъ пѣсняхъ ихъ разговоръ является восхваленіемъ молодца, которому поется величаніе:

Какъ на дубчикѣ два голубчика сидятъ,
Межъ собою разговариваютъ;
„Кто-жь у насъ молодчикъ молодой?
Кто-жь у насъ удалая голова?“ (Ш., 1925).

Пѣсни подобнаго содержанія встрѣчаются довольно часто. Иногда голуби сидятъ не на одномъ деревѣ:

Какъ на горочкѣ дубчики стоятъ,
Какъ на дубчикахъ голубчики сидятъ (С., IV, 95).

Но чаще все-же встрѣчается одинъ дубъ. Костомаровъ сближаетъ его съ мировымъ деревомъ арійской мифологіи ¹⁾. Интересно, что есть нѣсколько пѣсней, по содержанію близкихъ къ только что приведенной, въ которыхъ вмѣсто дуба упоминается часовня:

На часовенкѣ два голубя сидятъ,
Между собой разговариваютъ,
Добра молодца выхваляютъ (С., IV, 96).

Голуби, сидящіе на часовнѣ, нерѣдко встрѣчаются и въ пѣсняхъ, значительно отступающихъ по сюжетамъ отъ этихъ (С., IV, 623—626). Если принять во вниманіе, что за дубомъ до сихъ поръ остается какое-то религіозное значеніе, то возможно предположить въ этихъ пѣсняхъ замѣну дуба часовней въ болѣе поздній, христіанскій періодъ жизни народа. Невольно напрашивается сопоставленіе съ этими пѣснями еще одной пѣсни, любопытной по своему содержанію:

На долинушкѣ сыръ дубъ стонтъ,
На дубу сидитъ самъ сизой орель,
Въ когтяхъ ѣнъ держитъ черна ворона,—

¹⁾ О мировомъ дубѣ—*Аванасевъ*, II т. 294 стр. и гл. XIX и *Костомаровъ*, *Вестъ* 1872 г., VIII кн., стр. 36.

Да черна ворона да свово недруга,
Еяъ пустягъ же руду по сыру дубу.
Ужъ вы возвейтеса, вѣтры буйныя,
Вы и выбивайте да сизова ворона,
Сизова ворона да свово недруга,
Свово недруга, да братца рѣднова (Ш., 1172).

Всѣ эти пѣсни, несомнѣнно, вводятъ насъ въ область религіозныхъ воззрѣній индо-европейскихъ народовъ. Не имѣя возможности останавливаться здѣсь на этихъ вопросахъ, скажемъ только, что эти вѣрованія нисколько не противорѣчатъ символическому значенію дуба. Дѣйствительно, мы видѣли, что онъ символизируетъ собою мужчину по сходству съ нимъ въ силѣ, отождествляемой съ крѣпостью „могучаго“ дуба. Слѣдовательно, выражая символическое значеніе дуба въ болѣе общемъ видѣ, мы можемъ сказать, что онъ является символомъ силы и могущества¹⁾. Но и то, что создало весь міръ, должно было отличаться могуществомъ. Отсюда—міровое дерево-дубъ. Относительно голубей замѣтимъ, что они издавна были священными птицами и даже въ христіанствѣ сохранили свою связь съ религіей. Госпъ указываетъ на почитаніе голубя въ разныхъ мѣстахъ въ древности и, между прочимъ, упоминаетъ, что „въ арійскихъ городахъ голубь былъ посвященъ божеству женскаго рода, олицетворявшему извѣстныя силы природы, чтимому подъ разными именами и называемому у грековъ Афродитой²⁾. Въ русскихъ пѣсняхъ голуби нерѣдко являются символами любви и привязанности. Какъ образъ любви, безъ которой невысказано существованіе міра, голубь долженъ былъ тоже занять мѣсто въ картинѣ, изображавшей „первую причину“: могущество и любовь создаютъ весь міръ, все существующее. Теперь становятся понятны обряды вѣчанія вокругъ дуба—съ нимъ было соединено представленіе о верховномъ существѣ, поддержка котораго необходима для всякаго новаго брачнаго союза, какъ источника новой жизни. Въ нашихъ пѣсняхъ дубъ тоже имѣетъ отношеніе къ любви и браку. Онъ является свидѣтелемъ любви:

Какъ мы прежде съ тобой, мы любилися,
Подъ сырымъ дубомъ спороднились (Ш., 796).

Звать „къ дубову столу“—все равно, что звать на свадебный пиръ, на свадьбу (Ш., 1746); дрова, которыми топятъ баню для невѣсты,

¹⁾ Латинское *robur*=1) *queercus*, 2) дубовое и твердое дерево и 3) сила, крѣпость...

²⁾ *Гемъ*, стр. 192.

называются въ пѣсняхъ дубовыми: „Спасибо... на дубовыхъ дровцахъ“, благодарить невѣста отца (III., 2391).

Вязъ (*Ulmus*) встрѣтился намъ всего только въ одной пѣснѣ и то рядомъ съ дубомъ:

Подъ дубомъ, подъ дубомъ, подъ дубиною,
Подъ вязомъ, подъ вязомъ, подъ вязиною,
Растеть кусть раKITовъ зеленешенскъ,
Подъ кустикомъ молодецъ молодецкскъ.

Онъ дожидается дѣвицы, которая и приходитъ къ нему ночью: ей мѣшали уйти изъ дому ея родные (С., IV, 370).

Кедръ (*Pinus Sembra*) мы находимъ тоже всего въ одной пѣснѣ, гдѣ онъ является мужскимъ образомъ. Объ этой пѣснѣ мы уже говорили выше: отправляясь въ походъ, молодецъ жалѣветъ, что долженъ покинуть свой садъ:

Что кедрово древо въ саду—родимый батюшка (С., III, 587).

Замѣтимъ вообще, что для обозначенія мужчинъ гораздо меньше образовъ, чѣмъ для обозначенія женщинъ. Можетъ быть, это объясняется тѣмъ, что дубъ, какъ наиболѣе соотвѣтствовавшій взгляду народа на мужчину, вытѣснилъ всѣ остальные образы.

Крушина упоминается очень рѣдко; въ одной пѣснѣ, кромѣ того, трудно опредѣлить, дерево ли разумѣется, или просто „крушина“ сказано вмѣсто „кручина“, что, повидимому, подтверждается послѣдующими стихами:

Ой, матушка, крушина,
Государыня, печаль!
Но крушина сокрушила,—
Сокрушилъ дѣвку дѣтина... (С., IV, 653).

Въ другой пѣснѣ крушина является уже несомнѣнно деревомъ:

Стояли три древа, зелены, кудравы:
Первое-то древо—зелена береза,
Другое-то древо—сухая крушина,
А третье-то древо—горькая осина.
На бѣлой березѣ соловейко свистеть,
На сухой крушинѣ кукушка кукуеть,
На горькой осинѣ горюшко горюеть (С., V, 514).

Конецъ пѣсни содержитъ рассказъ о разлукѣ молодца съ дѣвушкой. Такимъ образомъ, крушина помѣщается народомъ между березой и осинной; на ней кукуеть кукушка; самое ея названіе, очевидно, сло-

жилось подъ вліяніемъ понятія „крушить, сокрушать“: вѣдь, одинъ изъ видовъ крушины—крушина ломкая (*Rhamnus frangula*)—отличается хрупкостью своей древесины; плоды ея имѣють черный цвѣтъ.

Орѣшина ¹⁾ (*Corylus Avellana*) тоже принадлежитъ къ числу тѣхъ растений, для которыхъ пѣсни дѣють скудный матеріалъ, вслѣдствіе чего трудно установить ихъ значеніе. Орѣхи, вмѣстѣ съ яблоками, упоминаются въ числѣ свадебныхъ подарковъ (III., 1354). На орѣшинѣ качается молодець:

У воротъ орѣшина,
У воротъ зеленая,
А на той орѣшинѣ
Колыбель повѣшена;
Въ той колыбели
Качался боярскій сынъ.

Онъ просить товарищей „взмахнуть“ его повыше, „чтобъ видно было далече“. И затѣмъ идетъ картина завиванія дѣвучкою вѣника (III., 1907). Одна пѣсня начинается обращеніемъ къ орѣхамъ:

Свѣтъ моп орѣшки щелканцы!
Вы рано цвѣли, а поздно выросли,
А я, молода, догадлива была:
Щаички взяла въ посидѣлки пошла.

Но дѣло не спорится—„ни шьется, ни придется“: ея горькая доля за старикомъ мужемъ не выходитъ у нея изъ головы, и она рѣшается на убійство (III., 613). Орѣхи имѣють здѣсь, повидимому, связь съ представленіемъ радости, счастья, любви; но они „рано цвѣли“ и „поздно выросли“: раннее цвѣтеніе—образъ печальный для всякаго дерева; а позднее выростаніе орѣховъ—приходъ любви и счастья тогда, когда онѣ уже невозможны. Но съ другой стороны, въ нѣсколькихъ пѣсняхъ орѣшникъ является и въ довольно необычной картинѣ. Всѣ три пѣсни, которыя мы имѣемъ въ виду (III., 891, 893, 894), почти одинаковы по содержанію:

Во гѣсу было въ орѣшинѣ,—
Туть стоялъ, стоялъ вороній конь,—
Трое сутокъ не корменый былъ,
Недѣлюшку не поенъ стоялъ... (III., 894).

Затѣмъ идетъ рассказъ объ убіеніи мужа женою; конецъ въ разныхъ

¹⁾ III.—613, 891, 893, 894, 1071, 1351, 1907 и др.

пѣсняхъ поется различно. При ближайшемъ разсмотрѣніи, легко замѣтить, что здѣсь народъ отмѣчаетъ не опредѣленную породу деревьевъ, а совокупность ихъ: дѣйствительно, тутъ является и „ельничекъ“, и „березничекъ“, и „орѣшничекъ“ (Ш., 891), и все это объединяется общимъ понятіемъ „лѣса“; значить, всѣ эти образы по своему значенію непосредственно зависятъ отъ символики своего родового понятія—лѣса. Къ этому вопросу мы вернемся еще нѣсколько ниже. Что же касается до пути, какимъ шла мысль, создавая значеніе орѣшины и ея плодовъ, то пѣсни на это не даютъ намъ никакихъ указаній; а потому, мы можемъ высказать только предположеніе, что оно образовалось по аналогіи съ яблоней, на что какъ будто намекаетъ совмѣстность орѣховъ и яблокъ въ числѣ свадебныхъ подарковъ. Сверхъ того, обряды, связанные съ орѣшиной, въ нѣкоторыхъ случаяхъ очень напоминаютъ обычай, связанные съ яблоней: напримѣръ, по словамъ Аванасьева, „въ Шварцвальдѣ посланный звать на свадьбу несетъ орѣховую вѣтку“¹⁾; а мы уже указывали выше, что, дѣлая предложеніе, женихъ посылаетъ невѣстѣ яблоко. Да и вообще орѣхи не вызывали у народа мрачныхъ образовъ: въ загадкахъ народъ неоднократно называетъ орѣхи сладкими: „Стоить высоко, виситъ далеко, кругомъ гладко, въ середкѣ сладко“ и др.²⁾ Очень возможно, что въ силу этой сладости плодовъ орѣшина и получила, сходно со „сладкими“ яблоками, свѣтлое значеніе.

*Виноградъ*³⁾ въ большинствѣ случаевъ связывается со свѣтлыми картинами. Въ колядкахъ встрѣчаются припѣвы: „виноградѣ красно-зеленое мое“, „виноградѣ красно-зеленъ мое“ (Ш., 1030 и 1031) и т. п. Эти припѣвы выражаютъ, повидимому, пожеланіе хозяевамъ благосостоянія и счастья. Что виноградъ, дѣйствительно, имѣетъ такое значеніе, ясно видно изъ пѣсни, которую иногда поютъ на сговорѣ: сваха пріѣзжаетъ въ домъ невѣсты и такъ расхваливаетъ свою сторону:

„Какъ наша стороншка,
Она 'зюмогъ усажена,
Виноградомъ обгорожена“ и т. д. (Ш., 2072).

Сваха, очевидно, хочетъ сказать, что на ея сторонѣ царитъ богат-

¹⁾ Аванасьевъ, т. II, стр. 319.

²⁾ Даль. Пословицы, стр. 1063.

³⁾ Ш.— 729, 740, 741, 1030, 1031, 1036, 1200, 1244, 1768, 1769, 1897, 1901, 1928, 1998, 2072, 2190, 2370, 2410, 2430; С.—II, 3, 47, 92, 160, 223; III, 17, 95, 113, 375, 376; IV, 308, 309, 528, 529 и друг.

ство, счастье и веселье. Наиболее частая картина — это срывание винограда; девушка ломает виноград и бросает своему милому:

Щиплет и ломает зелень виноградъ,
Кисточки бросает ко мнѣ на кровать.

Молодецъ говорятъ, что хочетъ взять ее за себя замужъ, а она отвѣчаетъ, что воля не ея— „воля батюшкова“ (С., III, 375). Въ другой пѣснѣ молодецъ ломаетъ виноградъ:

Щиплетъ-ломаетъ зелень виноградъ,
Коренья бросаетъ дѣвкамъ въ хоровадь.
„Дѣвки, дѣвушки, любите меня!“ (С., II, 223).

Въ знакъ своей любви къ дѣвицѣ молодецъ—

На серебряномъ подносѣ
Виноградъ ей поднесъ (III., 1926).

Вкушеніе винограда ставится народомъ въ связь съ удовлетвореніемъ любви:

Мы пойдемъ, пойдемъ, дѣвица, во зеленый садъ гулять,
Заломаемъ, заломаемъ мы зелень виноградъ!
Ахъ, яблочко я съѣла, позадумалася;
Виноградуцѣ и поѣла, тутъ разсудокъ потеряла...

Кончается пѣсня упреками младшей сестры и отчаяньемъ старшей, принесшей „отцу матери безчестье“ (С., II, 92). Вѣтка виноградная служить знакомъ для влюбленныхъ:

А какъ нынѣ мой милой...
...На окошечко смотрѣлъ,
На окошкѣ есть прямиѣтка—
Винограду виситъ вѣтка (С., IV, 528).

Иногда виноградъ сопоставляется съ молодецъ (женихомъ):

Катился виноградъ да по загородью,
Дружка ведетъ молодого князя да по застолю (III., 1769).

Въ одной пѣснѣ молодого прямо называютъ виноградомъ, а молодую—ягодой:

Виноградъ разцвѣтаетъ,
А ягода, а ягода посѣивается.
Виноградъ—(имя мужа) сударь,
Виноградъ—(отчество его);
А ягода—свѣтъ (отчество жены) душа (III., 2430).

Встрѣчается въ пѣсняхъ, хотя и рѣдко, и ягода-изюминка:

Сладка ягода изюминка
По тарелочкѣ катается,
Точно сахаръ разсыпается.
Ты, душа ли красна дѣвица,
На кого, душа, надѣнешься?.. (С., IV, 308)

Только въ одной пѣснѣ виноградъ соединяется съ грустной картиной, да и то къ этому принуждаетъ общая для всѣхъ деревьевъ картина, изображающая слезы:

Виноградка, сладка ягодка!
Ты не стой-ка надъ быстрой рѣкой,
Надъ быстрой рѣкой, надъ рѣченькой,
Ис рони-ка свое листьце...
Въ этой рѣчкѣ листьа топятся,
У меня ли слезы катятся... (С., II, 3).

Паденіе листьевъ съ винограда въ рѣку означаетъ, слѣдовательно, слезы; но самъ виноградъ является строго выдержаннымъ свѣтлымъ символомъ. Это и вполнѣ естественно; какъ въ послѣдней, такъ и въ нѣкоторыхъ другихъ пѣсняхъ народъ отмѣчаетъ сладость винограда. Да и, вообще говоря, ни настоящій виноградъ (*Vitis vinifera*), который, несомнѣнно, имѣется въ виду въ большинствѣ пѣсенъ, ни шпалерный виноградъ (*Ampelopsis quinquefolia*, или *hederacea*), который, можетъ быть, подразумѣвается въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, не обладаютъ такими рѣзко замѣтными признаками, которые могли бы по законамъ ассоціацій вызвать мрачныя представленія, а главное, конечно, что народъ обратилъ вниманіе на его свѣтлыя стороны.

Черносливъ ¹⁾ упоминается въ немногихъ пѣсняхъ и то вмѣстѣ съ изюмомъ-виноградомъ. Народъ подъ именемъ чернослива разумѣетъ, какъ кажется, и дерево (*Prunus domestica*), и плодъ этого дерева. Едва ли не въ одномъ только мѣстѣ онъ встрѣчается вполнѣ самостоятельно; вышеприведенныя слова свахи имѣютъ слѣдующій вариантъ:

„Какъ чужая сторонунка—
Она садомъ усажена,
Черносливомъ усыпана“ (Ш., 2450).

По смыслу пѣсни видно, что здѣсь черносливъ употребляется въ

¹⁾ Ш.—740. 741, 2450; С. Ш, 113.

томъ же значеніи, въ какомъ и виноградъ. Въ остальныхъ случаяхъ они стоятъ вмѣстѣ. Дѣвушка жалуется, что ея садъ заросъ полынью:

Завяла, злодѣйка,
Въ саду мѣстечко—
Мѣсто доброе,
Хлѣбородное.
На этомъ на мѣстѣ
Черносливь растеть...
..Виноградъ цвѣтеть,
Изюмъ-ягода... (Ш., 740).

На этомъ мѣстѣ въ саду растеть всегда виноградъ, черносливь и проч.—здѣсь бывало всегда счастье и веселье; а теперь все заросло полынью—горе постигло дѣвушку: милый измѣнилъ.

Кленъ ¹⁾ (*Acer platanoides*) чаще всего встрѣчается, какъ матеріалъ, изъ котораго сдѣланы тѣ или другія вещи. Въ нѣсколькихъ пѣсняхъ упоминается кленовая стрѣла, которой молодецъ „наказываетъ“:

„Ты убей, убей, кленовая стрѣла,
Что сиза орла на Волгѣ на рѣкѣ,
Сѣру утицу во тешлимихъ гнѣздѣ,
Красну дѣвицу въ высокомъ терему!“ (С., V, 337).

Въ другой пѣснѣ женщина на предложеніе кузнецовъ подарить ей замокъ съ ключомъ, отвѣчаетъ, что ей ихъ не надо:

А мнѣ надо, а мнѣ надо—
Мнѣ кленовую стрѣлу.
Убить-сгубить, убить-сгубить
Во снѣ постылаго мужа (Ш., 543).

Въ нѣсколькихъ пѣсняхъ упоминается кленовая перекладина висѣлицы (Ш., 878 и С., I, 11). Изъ клена дѣлаются гуселки для грустной пѣсни:

Охъ, я пойду, молоденька, въ кленовую рошу,
Я высѣку, молоденька, кленнику тоненьку,
Я издѣлаю изъ кленники звончатя гусли,
Заиграю, молоденька, сама жалобиенько (С., IV, 560).

„Съ горя, со тоски“ идетъ молодая въ темный лѣсъ:

Сорву, млада, кленовъ листь,
Нанишу я грамоту
Къ родимому батюшкѣ (С., V, 199).

¹⁾ Ш.—543, 878, 1845, 1940, 2271; С.—I, 11, 12; IV, 560; V, 199, 336, 337 и др.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ мы видимъ связь клена съ печальными картинами, но есть двѣ пѣсни, гдѣ рисуются картины совсѣмъ иного характера. Въ одной пѣснѣ дѣвушка, а въ другой—молодецъ качаются на клену въ „колыбели“; дѣвица проситъ подружекъ качнуть ее повыше, чтобы она видѣла молодца: „что онъ тамъ дѣлаетъ?“ Молодецъ о томъ же проситъ товарищей (Ш., 1846 и 1940).

Яворъ (*Acer pseudoplatanus*), такъ часто встрѣчающійся въ южно-русской лирикѣ и такой яркій тамъ по своему значенію, совсѣмъ не упоминается въ извѣстныхъ намъ великорусскихъ пѣсняхъ. Только въ одномъ мѣстѣ мы находимъ о немъ упоминаніе и то лишь—въ видѣ простого созвучія въ шутиливой прибауткѣ дѣружки:

Поварь-яворъ,
Перехъняй-жо
Ѣства сахарныя! (Ш., 2326 и стр. 707, 1 стб.).

Этимъ исчерпывается весь тотъ рядъ деревьевъ и кустарниковъ, который мы находимъ въ великорусскихъ пѣсняхъ. Но прежде чѣмъ перейти къ растеніямъ травянистымъ, намъ необходимо затронуть одинъ не маловажный вопросъ: почему мы при многихъ разсмотрѣнныхъ растеніяхъ находимъ картины, повторяющіяся съ большою послѣдовательностью и съ постояннымъ сохраненіемъ одного и того же значенія, независимо отъ частнаго, такъ сказать, индивидуальнаго смысла каждаго отдѣльнаго дерева или кустарника? Почему, напримѣръ, паденіе листьевъ и наклоненіе вѣтвей какого бы то ни было дерева сопоставляются со слезами и горемъ? Пѣсни сами даютъ на это отвѣтъ: въ качествѣ символа нерѣдко оказывается *дерево вообще* ¹⁾, и понятно, что тѣ картины, которыя народъ создаетъ по отношенію къ нему, могутъ быть перенесены и на всякое другое дерево, безъ различія породы. Что это дѣйствительно такъ, легко убѣдиться, разсмотрѣвъ болѣе частые случаи употребленія дерева вообще въ качествѣ символа. Вотъ пѣсня, въ которой рубка дерева сопоставляется съ выдачей замужъ; дочь обращается къ отцу:

Не сляк древо кудреватое!
Кудряво древо никуда не клонится.
Осударыня да все рѣдная матушка!
Не отдай дочку замужъ, куды ей не хотца (Ш., 1077).

Паденіе листьевъ въ рѣку—слезы:

Ты не стой древо надъ рѣкой,

¹⁾ Ш.—1077, 1355, 1391, 1512, 1524, 1599; С.—I, 295 и друг.

Не рони-ка листьє на воду,
 Ты не плачь, не плачь, Полисенушка...
 Ты стой древо надъ рѣкой,
 Ты рони листьє на воду.
 Ты расплачься Полисенушка... (Ш., 1512).

Эти образы паденія листьевъ, вмѣстѣ съ повислыми вѣтвями нѣкоторыхъ породъ, и послужили основаніемъ для образованія представленія плачущаго дерева, которое уже потомъ получило названіе „плачущаго“. Съ теченіемъ времени дерево вообще стало, повидимому, замѣняться какимъ-нибудь опредѣленнымъ видомъ, такъ какъ это давало возможность точнѣе изобразить то или другое явленіе: для явленій изъ жизни женщины были женскіе символы; изъ жизни мужчины—мужскіе; были символы веселья и горя, печали и радости. Можетъ быть, поэтому дерево вообще и встрѣчается гораздо рѣже, чѣмъ какая-нибудь опредѣленная порода деревьевъ.

Лѣсъ ¹⁾ является родовымъ понятіемъ по отношенію къ такимъ видовымъ, какъ напримѣръ,—дубрава, ельникъ, осинникъ и т. п., въ которыхъ указывается, изъ какихъ деревьевъ по преимуществу состоитъ данная лѣсная заросль. При этомъ сознается и отношеніе между родовымъ и видовымъ понятіемъ: часто къ „дубравѣ“, „ельничку“, „орѣшничку“ и т. п. прибавляется слово лѣсъ: „изъ лѣса-дубравы“ и проч. Нѣсколько разъ встрѣчается въ гѣсняхъ роща: шумъ ея сопоставляется съ печалью молодой, проводящей ночь за пряхой:

Зеленая роща во всю ночь шумѣла,
 А я, молоденька, всю ночь не спала (С., IV, 53).

Народное воображеніе соединяетъ съ представленіемъ лѣса печальныя картины: тутъ находится могила убитой мужемъ жены; дѣти, уличая отца въ преступленіи, говорятъ:

Наша матушка во сыромъ бору,
 Во сыромъ бору подъ бѣлою березою (Ш., 904).

Подобныя картины очень распространены въ гѣсняхъ. Уже одно упоминаніе лѣса въ большинствѣ случаевъ указываетъ на общій невесе-

¹⁾ Ш.—364, 687, 785, 786, 810, 842—845, 853, 855, 904, 905, 1238, 1255, 1264, 1266, 1271, 1280, 1340, 1361, 1371, 1385, 1528, 1644, 1645; С.—I, 64, 198, 199, 339, 340, 350; Ш., 50—58, 137, 138; IV, 53 и мн. др.

лый тонъ. Несчастная въ замужествѣ женщина восклицаетъ, на-
примѣръ:

Дуброва моя зеленая!
По тебѣ, моя дубровушка,
Добрыя пташки разлетались...

Осталась одна „горемычная кукушечка“: она оплакиваетъ свое „за-
мужьце несчастливое“ (Ш., 1264). Изъ-за темнаго лѣса поднима-
ются черныя тучи:

Изъ-за лѣсу, лѣсу темнаго,
Изъ-за саднеу зеленого
Выходила туча грозная...

А дальше описывается разставаніе матери съ дочерью, которая
остаётся въ „сыромъ дремучемъ лѣсу“ думать свою невеселую думу
(Ш., 843). Здѣсь вся пѣсня такъ проникнута символизмомъ, что не
сразу и поймешь, что сырой боръ—„чужа дальня сторона“. Значеніе
лѣса вполне ясно обнаруживается въ толкованіи, которое невѣста
даетъ своему сну:

Что горы-то крутые—
Мое горе-кручинушка,
Что рѣки-то быстрыя—
Мои горячі слезы;
Что лѣса-то темные—
Чужа дальня сторона;
Что звѣри-то лютые—
Чужи люди незнамые (Ш., 1361).

Если нѣкогда въ представленіи народа природа являлась живой и
разумной, то неудивительно, что женщина обращается къ лѣсу съ
просьбой:

„Ужь ты лѣсъ ты мой, лѣсокъ,
Лѣсокъ частенькій, лѣсокъ темненькій!
Подымай-ко ты, лѣсокъ, свое вѣтвейко,
Пропусти меня въ гости къ батюшкѣ“ (Ш., 1280).

Замѣчательнъ здѣсь ласковый тонъ, которымъ говоритъ женщина съ
лѣсомъ; это и понятно: онъ живой и одушевленный—его не слѣдуетъ
раздражать; напротивъ, его нужно упрашивать, умолять и
даже молиться ему. И дѣйствительно, народъ молился лѣсамъ; от-
звукъ этого времени и этихъ возрѣній слышится въ одномъ сѣтова-
ніи невѣсты на ея горькую долю:

Видно я молилася, горюша бѣдная,

Что я *лѣсамъ-то* темнымъ

Да тому-то Богу, кой не милуетъ... (Ш., 1645, стр. 496).

Лѣсъ и суровый богъ, который „не милуетъ“, ставятся гѣсней рядомъ; образъ этого божества получилъ, очевидно, свой мрачный характеръ отъ своей близости къ лѣсу, съ которымъ постоянно соединялась мысль о чемъ-то темномъ и страшномъ: лѣса неоднократно называются въ народныхъ произведеніяхъ „темными“, „дремучими“, въ нихъ царятъ всевозможныя опасности отъ злыхъ людей и „лютыхъ звѣрей“. Чувство, которое испытываетъ всякій, заблудившись въ лѣсу такъ неприятно, что въ гѣсняхъ вывести изъ лѣсу все равно, что выручить изъ бѣды; въ одномъ причитаньи невѣста говоритъ:

Благословенъ ецо великоес,
Меня спасетъ и помилуетъ,
Изъ синя моря повывесетъ,
Изъ темна лѣса повыведетъ (Ш., 1385).

Такимъ образомъ, лѣсъ совершенно естественно сдѣлался символомъ печали и горя вообще и въ частности — печали на чужой сторонѣ, которая иногда и сама изображается, какъ темный боръ; а затѣмъ и все грустное и мрачное находило себѣ образъ въ той или другой картинѣ лѣса. Сообразно съ этимъ его значеніемъ и его отдѣльныя виды, какъ „ельничекъ“, „орѣшникъ“, „калинникъ“ и пр., получаютъ свое назначеніе.

Я. Антаномовъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

ЖУРНАЛЪ
МИНИСТЕРСТВА
НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

СЕДЬМОЕ ДЕСЯТИЛѢТІЕ.
ЧАСТЬ СССХХХІV.

1902.

ДЕКАБРЬ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФІЯ.
1902.

СОДЕРЖАНІЕ.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

I. Именной Высочайшій указъ	51
II. Высочайшія повелѣнія	—
III. Высочайшіе приказы по вѣдомству мин. нар. пр.	52
VI. Положенія о стипендіяхъ и преміяхъ при заведеніяхъ министерства народнаго просвѣщенія	54
V. Проектъ нормальнаго устава педагогическихъ музеевъ по начальному образованію	68
VI. Отъ управленія пенсіонной кассы народныхъ учителей и учительницъ	70
VII. Опредѣленія ученаго комитета мин. нар. пр.	71
VIII. Опредѣленія особаго отдѣла ученаго комитета мин. нар. пр.	80
Открытіе и преобразование училищъ	90
Я. А. Автомоновъ. Символика растений (<i>окончаніе</i>)	243
II. Г. Васенко. Кто былъ авторомъ „Книги Стопеной царскаго родословія“?	289
В. Н. Сергѣевичъ. Древности русскаго землевладѣнія. V	307
Д. Н. Егоровъ. Этюды о Карлѣ Великомъ (<i>продолженіе</i>)	362

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ.

I. М. Кулишеръ. Г. Ф. Симоненко. Политическая экономія въ ея новѣйшихъ направленіяхъ. Варшава. 1900	402
С. II. Шестаковъ. С. Robert. Studien zur Pias mit Beiträgen von Fr. Bechtel. Berlin 1901	414
А. И. Соболевскій. Д. Я. Самохвасовъ. Архивное дѣло въ Россіи. Книга первая. Современное русское архивное пестроепіе. Книга вторая. Прошедшая, настоящая и будущая постановка архивнаго дѣла въ Россіи. М. 1902	438
С. Ф. Платоновъ. И. Я. Гурляндъ. Приказъ Великаго Государя Тайныхъ дѣлъ. Ярославль. 1902	443
Н. Ч. С. Г. Алексеевъ. Мѣстное самоуправленіе русскихъ крестьянъ XVIII—XIX вѣковъ. С.-Пб. и Москва. 1902	450
— Книжныя новости	454

НАША УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

С. Щербаковъ. Курсъ космографіи для среднихъ учебныхъ заведеній	17
Ч. А. Юмъ. Уроки астрономіи	20
К. Байъ. Исторія искусствъ	23

См. 3-ю стр. обложки.

СИМВОЛИКА РАСТЕНИЙ ВЪ ВЕЛИКОРУССКИХЪ ПѢСНЯХЪ ¹⁾.

Растенія травянистыя.

Переходя къ травянистымъ растеніямъ, мы должны оговориться, что будемъ разсматривать только наиболѣе употребительныя изъ нихъ; разбирать всѣ безъ исключенія было бы во многихъ случаяхъ совершенно бесполезно, такъ какъ нѣкоторыя растенія встрѣчаются очень рѣдко или даже всего одинъ разъ; а это мѣшало бы установить, какое растеніе имѣется въ виду и какъ возникаетъ связь между представленіями. Напримѣръ, въ одной пѣснѣ упоминается „зеле-козеле“ (Ш., 1267); что это за растеніе, опредѣлить невозможно, такъ какъ нигдѣ больше такого названія не встрѣчается: не даютъ его и „Словари“ Анненкова и Даля.

Трава ²⁾ вообще упоминается въ пѣсняхъ чрезвычайно часто. Она ставится въ параллель и съ мужчиной, и съ женщиной. Молодая жена сопоставляется съ зеленой травой:

Ой зелена, зелена
Въ погѣ травка....
А молода, молода
У Андрея жена (Ш., 1277).

¹⁾ *Окончаніе*. См. ноябрьскую книжку *Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія* за 1902 годъ.

²⁾ Ш.—292, 307, 308, 331, 399, 400, 405, 416—418, 431, 432, 453, 457, 524, 525, 536, 542, 560, 569, 599, 644, 700, 701, 703, 758, 765, 766, 793, 796, 1151, 1205, 1277, 1462, 1638, 1645, 1667, 1718, 1917, 1956, 2536; С.—II, 35, 46, 224—225 и др., 338, 342; IV, 15, 176; V, 249, 294, 566 и мн. друг.

Невѣста сравниваетъ себя съ „недорослой“ травой:

Что я молодистая—молодохонька,
Что я не исподившии ростаъ полная,
Какъ травпунка я недорослая,
Не сконившая смогутной силы,
Какъ ягодиночка незорѣлая (Ш., 1645).

Разставаясь со своей „волей-красотой“, дѣвушка съ тоской говоритъ:

Какъ мнѣ съ нею разставатися:
Какъ водой ли разливитися?
Ли травкою растилатися? (Ш., 1667).

Обозначаетъ трава и мужчину; въ этомъ смыслѣ объясняется одинъ сонъ невѣсты:

Какъ у монахъ ногъ у рѣзвыихъ
Проростала трава шелкова, —
То мужъ удала голова (Ш., 1638).

Съ травой, въ большинствѣ случаевъ, связываются свѣтлыя картины; разумѣется, если сама она свѣжа и зелена. По травѣ ходить молодець—онъ ухаживаетъ за дѣвушкой, любить ее и т. п.:

Вдоль было по травѣ, вдоль по муравѣ
Донской казакъ гуляетъ,
Онъ ходитъ и гуляетъ,
Себѣ невѣсту выбирать (С., II, 231).

Иногда трава замѣняется зелеными лугами, и съ ними также связываются свѣтлыя картины: здѣсь парни выбираютъ себѣ дѣвушекъ, а здѣсь они выѣтъ вѣселятся:

Во зеленыхъ лугихъ
Стоять дѣвушки въ кружкахъ...
...Что пошли наши ребята
Вдоль по кругу гулять...
...Красныхъ дѣвокъ выбрать (Ш., 417).

Топтать траву — то же, что и ходить по ней; этотъ образъ связывается съ любовью, ухаживаньемъ, сватовствомъ:

Кто топталъ травушку, кто топталъ муравушку?
Топтали травушку съ боярска сватанья.
Сватались, сватались за красную дѣвушку (С., IV, 176).

Хожденіе молодца къ дѣвицѣ изображается въ пѣснѣ такъ:

Онъ всю травушку-муравушку примялъ,
 Всѣ лазоревы цвѣточки посорвалъ.
 Онъ повадился ко дѣвушкѣ ходить (Ш., 569).

Изъ зависимости отъ этого находится нѣсколько иной образъ; молодецъ „торить“ дорожку—ходить къ дѣвушкѣ:

Еще кто это дорожечку торилъ?
 Молодой царень за дѣвушкой ходилъ (С., V, 566).

Дѣвица сама топчетъ траву—привлекаетъ, „дразнить“ молодецъ:

По горамъ дѣвки гуляли...
 Чоботомъ траву топтали,
 Рукавомъ цвѣты ломали...
 И, старшій идетъ,—прихоронюсь,
 Молодой идетъ,—поклонюсь! (С., II, 35).

Мѣста въ одной нѣсгѣ просить отца оставить ее у себя еще „хоть годочекъ“:

Травку муравку потопчу...
 ...Ненавистниковъ подражаю...
 ...Все ребятуншекъ холостыхъ (Ш., 1917).

Трава вьется—дѣвица ждетъ милаго:

Не шелковая травинка
 Околъ меня вьется,
 Красавица дѣвушка
 Дружка не дождется (Ш., 331).

Косить траву—любить:

Косилъ Вышюшка чужую траву,
 Своя стоитъ, вьется.
 Любилъ Вани чужую жонку,—
 Своя стоитъ, плачетъ (Ш., 700).

Изъ этого мѣста видно, что увяданіе травы — унодобляется печали, горю, какъ мы видѣли это и при разсмотрѣніи деревьевъ. Въ одной нѣсгѣ засыхающая трава образъ исчезающей любви:

Ты трава-ль моя,
 Ты шелковая,
 Ты весной росла,
 Лѣтомъ выросла.
 Подъ осень травка
 Засыхать стала,

Про мила дружка
Забывать стала (Ш., 703).

Подъ погами неспавиетной жены вянетъ трава:

Какъ моя-то жена, что люта зима, —
По травѣ идетъ, трава вянетъ... (Ш., 796).

Невозможность для травы цвѣтенія подъ снѣгомъ сравнивается съ невозможностью вернуть прежнее счастье съ любимымъ человѣкомъ:

Не бывать веснѣ среди зимы,
Не цвѣсти травонькѣ по снѣгу,—
Моя радость не воротится! (Ш., 2536).

Горе на чужой сторонѣ рисуется слѣдующимъ образомъ:

На несчастной здѣсь сторонкѣ
И травоньки не растутъ....
...И цвѣточки не цвѣтутъ (Ш., 793).

Говоря о своей безпредѣльной любви къ молодцу, дѣвушка проситъ траву покрыть ее могилу, повидному, въ знакъ сохраненія ея чувства даже за гробомъ:

Насъ тогда съ тобой разлучать,
Когда въ гробъ меня положить,
Гробою доской накроютъ.
Заростай моя могила,
Ты травкою муравкою! (Ш., 758).

Пониженіе травы—печаль, горе:

Трава ль ты моя, травушка!
А все трава во лугѣ легла
Стѣною—шелковою муравкою.

Такъ начинается пѣсня, въ которой поется о выходѣ дѣвушки замужъ за старика (С., II, 338).

Этимъ далеко не исчерпывается тотъ матеріалъ, который дается намъ пѣснями; но мы постарались коснуться всѣхъ главныхъ картинъ, соединяемыхъ народомъ съ образомъ травы. Если здѣсь и встрѣчаются образы печали, то это зависитъ не отъ значенія самой травы, а отъ того положенія, въ которое она поставлена. Сама же по себѣ она, по крайней мѣрѣ въ большинствѣ пѣсней, имѣетъ значеніе свѣтлое, да иначе и не можетъ быть. Зеленая трава производитъ на человѣка отрадное впечатлѣніе, особенно весной: появляется

первая травка, и народъ говоритъ—„природа оживаетъ“. Но та же трава, поникшая и поблекшая, не можетъ возбуждать въ чловѣкѣ пріятныхъ представлений. Кромѣ чисто зрительнаго пріятнаго или непріятнаго воспріятія, съ зеленѣющимъ лугомъ или лугомъ, покрытымъ высохшей травой, у народа связываются важныя матеріальныя соображенія: трава и сѣно играютъ въ экономической жизни всѣхъ народовъ первостепенную роль. Такимъ образомъ, вполне естественно, что съ представленіемъ зеленой травы связывались въ народѣ свѣтлыя картины. Нѣкоторый диссонансъ вносится какъ будто цѣлымъ рядомъ пѣсенъ, въ которыхъ описывается смерть молодца въ „дикой степи“:

Съвозъ косточекъ, мелкихъ ребрушекъ—травы-мурава, она поросла,
Съвозъ ретивого сердечушка—цвѣтъ лазоревый расцвѣтъ;
Ой, да надъ буйной моей головушкой—кустикъ ракиновый выросалъ
(С., I, 413).

Туманы, упоминаемые въ началѣ, дикая степь, ракиновъ кустъ—все это символы горя и тоски; а рядомъ—травы-мурава и лазоревый цвѣтокъ. Но что же это за трава? Вокругъ степь, и естественно предположить, что это не что иное, какъ ковыль. Это предположеніе подтверждается и однимъ изъ вариантовъ:

Съвозъ его-то мелки ребрышки
Проросла ковыль трава (С., I, 415).

Одинъ только лазоревый цвѣтокъ противорѣчитъ общему печальному тону картины; народъ могъ упомянуть его для контраста, съ цѣлью указать на ту иную долю, которая была возможна для молодца, — это символъ полного силъ чловѣка. Но, можетъ быть, цвѣтокъ явленіе здѣсь случайное, такъ какъ въ другихъ вариантахъ это мѣсто поется иначе:

Съвозъ его сердце ретивое
Змѣя люта проползла (С., I, 415).

Вообще же нужно замѣтить, что отъ народнаго творчества нельзя требовать безусловно строгой послѣдовательности: на него влияют и мѣсто, и время, и индивидуальность того или другого лица, передающаго пѣсеню.

Цвѣтты ¹⁾, какъ понятіе общее, встрѣчались уже во многихъ

¹⁾ III.—372—374, 501, 505, 530, 536, 680, 687, 731, 781, 793—796, 830, 836, 858, 859, 1058, 1148, 1150, 1205, 1209, 1281, 1109, 1130, 1135, 1155, 1514,

отрывкахъ, приведенныхъ выше. Ихъ символика отчасти походить на символику травы, отчасти—на символику розы. Цвѣты неразрывно связаны съ травой: она даетъ ихъ, и вездѣ, гдѣ цвѣтутъ цвѣты, есть и трава; поэтому, народъ такъ часто и соединяетъ ихъ въ пѣсняхъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, они являются и чѣмъ-то особеннымъ, непохожимъ на траву. Съ розой ихъ сближаетъ яркость окраски, на которую постоянно указывается въ пѣсняхъ. Чаще всего упоминаются алые и лазоревые цвѣты. „Алый“, какъ кажется, дѣйствительно, указываетъ на опредѣленную окраску, и тѣмъ даетъ направленіе значенію цвѣтовъ. Что же касается до слова „лазоревый“, то тутъ приходится еще рѣшить, содержитъ ли оно указаніе на какой-нибудь опредѣленный цвѣтъ. Нѣкоторыя пѣсни заставляютъ въ этомъ сомнѣваться: молодая рассказываетъ свой сонъ,—„на широкомъ дворѣ выросла шелкова трава“:

Разцвѣли же цвѣточки лазоревы....

Въ объясненіи сна уже пѣтъ „лазоревыхъ“ цвѣтовъ:

Голубые цвѣточки—то наши сыночки
Розовые цвѣточки—тѣ наши-те дочки (Ш., 1618).

Такимъ образомъ, розовые и голубые цвѣты объединяются здѣсь подъ однимъ общимъ названіемъ лазоревыхъ. Но, конечно, этого одного еще недостаточно, чтобы безусловно утверждать, что „лазоревый“ не содержитъ указанія на опредѣленную окраску: въ приведенномъ мѣстѣ это можетъ быть случайнымъ явленіемъ. Однако въ словарь Даля мы находимъ одно интересное замѣчаніе, подтверждающее наше предположеніе: въ Рязанской губерніи „лазоревымъ цвѣткомъ называютъ шапки, шапочки, Tagetes, махровый *ярко-желтый* цвѣтокъ“. Въ пѣсняхъ о красотѣ молодца поется, напримѣръ, такъ: „Щечки—*аленько-лазоревый* цвѣтокъ“ (С., IV, 35). Въ другомъ мѣстѣ лазоревый цвѣтокъ упоминается, какъ что-то отличное отъ алаго и голубого:

Въ томъ саду три цвѣтика разцвѣли:
Алый цвѣтъ и лазоревый, голубой (Ш., 2041).

Все это заставляетъ признать, что „лазоревый“ указываетъ не на опредѣленный цвѣтъ, а только на большую или меньшую *яркость*

1607, 1618, 1711, 1933, 2004, 2035, 2041, 2092, 2118, 2184, 2536; С.—I, 23, 192, 177, 227, 308, 356, 426, 427; II, 25, 26, 35, 80, 177, 272, 273, 300, 301, 351, 355, 481, 611; III, 179, 372, 398—400; V, 13, 600 и мн. др.

окраски. Иногда, конечно, синие и голубые цветы тоже называются лазоревыми. Любопытно, что голубые цветы, как говорится в пѣснѣ, — „сыпочки“, а розовые—„дочки“; эта ассоціація цвета съ поломъ ребенка удерживается и теперь въ нѣкоторыхъ обычаяхъ: такъ, для мальчика употребляется голубой гробчикъ, а для дѣвочки—розовый; соответственно этому выбираются и ленты для креста, употребляемаго при крещеніи. Съ алыми цветами въ пѣсняхъ сопоставляются дѣвушки:

Что ни бѣлая капуста,—
То молодушка у насъ,
Что ни аленькій цвѣтокъ,—
Красна дѣвушка у насъ... (III., 372).

И вообще, цветы обозначаютъ дѣвушекъ:

Что лазоревый цвѣтокъ,—
Красны дѣвушки у насъ (III., 372).

Нерѣдко невѣста называетъ себя цвѣткомъ: „Ужъ и не дали вы цвѣтку выцвѣсти“ (III., 2148). Являясь, следовательно, женскимъ образомъ, цветы все же могутъ обозначать и мужчину; молодець, особенно любимый дѣвушкой, нерѣдко называется цвѣткомъ:

Аленькой, аленькой,
Махровой цвѣтокъ!
Миленькой, миленькой,
Сердешной мой дружокъ! (III., 576).

Въ пѣсняхъ, касающихся любви, преимущественно упоминаются цветы алые, потому что, вѣдь, красный цвѣтъ имѣетъ къ ней ближайшее отношеніе (алуша=милый дружокъ). Ходить по цвѣтамъ, калъ и ходить по травѣ,—любить:

Я по цвѣтнеамъ ходила,
По лазоревымъ гуляла,
Цвѣта алаго искала,
Не нашла цвѣта алова
Супротивъ моего милѣва (III., 680).

Алымъ цвѣткомъ называется въ пѣсняхъ не только возлюбленный, но и вообще всякій любимый человекъ; въ одномъ изъ причитаній невѣста обращается къ брату съ просьбой ухаживать безъ нея за ея цвѣтами—отцомъ и матерью:

Засохнешь, заблѣкнешь, зеленій садъ безъ меня,
И засохнуть два аленькихъ свѣточка...

... Ты вставай пораньше, полная ихъ почаше:
 Какъ первый-то свѣтъ—родимый мой батинька,
 А другой-то свѣтъ—родимая моя маменька (Ш., 1933).

Изъ всего этого видно, что алыи цвѣтокъ употребляется народомъ, въ большинствѣ случаевъ, для обозначенія объектовъ любви. Кстати упомянемъ здѣсь, что и самый садъ, въ которомъ растутъ деревья, цвѣтутъ цвѣты и разстилается шелковая трава, имѣетъ свое символическое значеніе; онъ обыкновенно является мѣстомъ дѣвничьяго раздолья, мѣстомъ счастья и довольства вообще, и, наконецъ—мѣстомъ любви. Таково значеніе сада въ самыхъ общихъ, грубыхъ чертахъ; его ближайшее разсмотрѣніе затрудняется, съ одной стороны, массою матеріала, а съ другой (и это гораздо важнѣе)—соединеніемъ его съ другими образами, что, конечно, вліяетъ на его значеніе.

Нужно коснуться еще нѣсколькихъ картинъ, въ которыхъ являются цвѣты. Ихъ цвѣтеніе связывается въ народномъ сознаніи съ беззаботной жизнью въ дѣвушкахъ, со счастьемъ и любовью: „И у матушки жила“, говоритъ женщина, „какъ цвѣтокъ цвѣла“ (Ш., 830). Цвѣтеніе и увяданіе сопоставляются съ любовью и разлукой:

Цвѣли, цвѣли цвѣтики да поблекли;
 Любилъ, любилъ милый другъ да покинулъ (С., II, 272).

Вообще, исчезновеніе, нецвѣтеніе и увяданіе цвѣтовъ являются символами горя и печали, и это нисколько не противорѣчитъ ихъ основному свѣтлому значенію. О печали молодца дѣвушка судить по цвѣтку:

Еще вянетъ ли, не вянетъ ли
 Да нашъ розовый цвѣтокъ?
 Еще тужить ли, не тужить ли
 Мой миленькій дружокъ? (С., V, 13).

Въ одной пѣснѣ нецвѣтеніе цвѣтка символизируетъ нарушеніе дѣвственности; въ Бѣлградѣ у монахини родился ребенокъ, и вотъ какъ была обнаружена виновная:

Усѣхъ монашечекъ въ допросу на дворь..
 Усѣ идутъ, по цвѣточку несутъ,
 Уво усѣхъ цвѣточки цвѣтутъ, въ одной не цвѣтеть.
 Позади идетъ родная матушка, горящей слезой льетъ:
 „Дитѣ-жъ мое, дитѣ милое, причина твоя!“ (С., I, 177).

Очень распространена картина, въ которой горе сопоставляется съ морозомъ, не позволяющимъ цвѣтамъ цвѣсти и зимой:

Кабы на цветы не морозы,—
И зимой бы цветы расцвѣтали,
На меня молодую не печали,—
Я поджавъ бѣлыхъ ручекъ не сидѣла... (Ш., 836).

Горькая жизнь замужемъ изображается въ одномъ причитаньи невѣсты слѣдующей картиной:

Вы замѣтите, голубушки,
Три цвѣтка, да три лазоревы.
Что первѣй-отъ цвѣтъ лазоревой —
Онъ безъ вѣтра шатается,
Что другой-отъ цвѣтъ лазоревой —
Онъ безъ солнышка вынетъ,
Что третей-то цвѣтъ лазоревой —
Онъ безъ дождика вынетъ, —
Это я, молодѣшенька,
На чужой дальней сторонущей (Ш., 1430).

Бываетъ, что цветы цвѣтутъ, да не „весело“, и это указываетъ на неполное счастье; такимъ символомъ сопровождается картина печали влюбленныхъ, которымъ родители молодца не позволяютъ обвѣнчаться:

Цвѣтники, цвѣточки, цветы мои!
Что же вы не весело, цветы, цвѣти?
На эти цвѣточки палъ маленький дождь,
На всю на осеннюю темную ночь (С., Ш, 398).

Молодая вдова „слезы ронить“ надъ могилой своего мужа:

„Кабы эта могила
Травкой заростала,
Что на этой бы на травѣ
Цветы расцвѣтали!“ (С., I, 427).

Это служило бы ей знакомъ любви умершаго, какъ мы видѣли это въ сходной картинѣ при травѣ. Съ поблекшимъ цвѣткомъ сравнивается любимый умершій человѣкъ:

... этотъ блеклый цвѣточекъ
Не расцвѣтъ, пресохъ безъ времени.
Этотъ цвѣтокъ—лада милан! (Ш., 2536).

Образованіе символическаго значенія цвѣтовъ, повидимому, направлялось тѣмъ же путемъ, что и символика травы.

Васильки ¹⁾ упоминаются въ числѣ лазоревыхъ цвѣтовъ, вслѣд-

¹⁾ Ш.—362, 2187, 2471; 1918, 1980; С.—1, 356; II, 354; IV, 234 и др.

ствіе чего они, можетъ быть, и встрѣчаются сравнительно рѣдко, какъ бы забытыя подъ вліяніемъ болѣе общаго образа, получившаго взаменъ того, какъ мы видѣли, широкое распространіе. Какъ цвѣты — вообще могутъ быть то мужскими, то женскими образами, такъ и васильки обозначаютъ то молодцевъ, то дѣвушекъ. Мы уже приводили отрывокъ, гдѣ молодцы сопоставляются съ васильками:

Книзь дубочка васильковы цвѣты, —
Кругъ дѣвушки удали молодцы (Ш., 362).

Но въ большинствѣ пѣсенъ васильки являются женскимъ образомъ:

Цвѣты мои цвѣтики,
Голубые васильковыя!
И не много васъ послала,
Очень много уродилось.
Много было подругъ дѣвушекъ... (Ш., 2187).

Васильки—символь счастья, какъ это видно изъ одной пѣсни:

Ахъ вы, горы, горы крутыя!
Ничего вы, горы, не породили,
Что ни травушки, ни муравушки,
Ни лазоревыхъ цвѣточковъ василечковъ...

Горы, имѣющія и сами печальное значеніе, породили только „бѣлы горючъ камень“, на которомъ растетъ ракита; тутъ лежитъ убитый молодець, тутъ его оплакиваетъ мать (С., I, 356); здѣсь нѣтъ счастья—нѣтъ ни травы, ни васильковъ. Въ другой пѣснѣ дѣвушка сажаетъ васильки:

Любыль мои василечки,
Лазоревые цвѣточки,
Часомъ я васъ посадила,
Другимъ-ли я васъ поливала,
Третьимъ часомъ покрывала...

Она предназначаетъ ихъ себѣ на вѣнокъ, которымъ овладѣваетъ старикъ: и вѣнокъ увяль, а дѣвица тужить по дружечкѣ (С., II, 354). Васильки—беззаботная дѣвичья жизнь, дѣвичество, проводимое въ домѣ родителей; дѣвушка всячески хранитъ его, но все же хранить для любимаго человѣка, а оно въ концѣ [концовъ достается старику.—Выщипывать, срывать васильки — выбирать, высматривать невѣсту:

Вопраманъ ¹⁾ съила,
 Васильчичи сѣдила.
 Панавадился въ вопраманъ гулить
 Удалой добрый молодець,
 Онъ вопраманъ вытоптать,
 Васильчичи выщипать,
 Красну дѣвицу высмотрѣть (III., 2471).

Подъ васильками, вѣроятно, разумеется *Centaurea Cyanus*, хотя еще нѣсколько растений посятъ названіе „василекъ“ и „васильки“. По для насъ, въ сущности, вовсе не важно знать навѣрное, что это за цвѣты: ихъ скудная по количеству образовъ символика, очевидно, установилась вмѣстѣ съ цвѣтами—вообще; свѣтлое значеніе васильковъ подтверждается и еще нѣсколькими пѣснями, на которыя однако нельзя вполне полагаться, потому что въ нихъ слишкомъ очевидно желаніе играть схожими по звукамъ словами: молодець носить при себѣ три цвѣтка „гардамонъ“, „любъ цвѣтокъ“ и „василекъ“:

„На что-жь тебѣ гардамонъ“?
 — „Чтобы мальчишь гордень былъ“.
 „На что-жь тебѣ василекъ“?
 — „Чтобы мальчишь весель былъ“.
 „На что-жь тебѣ любъ цвѣтокъ“?
 — „Чтобы дѣвки любилъ“ (III., 1918).

Въ вариантахъ этой пѣсни (III., 1980; С., IV, 234) гардамонъ (?) обыкновенно замѣняется макомъ, любъ-цвѣтокъ — любостаремъ (вѣроятно *Levisticum officinale*); только василекъ остается во всѣхъ и при томъ съ тѣмъ же значеніемъ веселья, которое вполне гармонируетъ и съ другими образами, связанными съ нимъ.

Къ числу такихъ же поэтическихъ символовъ изъ царства растений нужно, какъ кажется, отнести и *лапушку*—это ласкательное по отношенію къ женщинѣ имя. Правда, въ пѣсняхъ мы не имѣемъ прямыхъ доказательствъ того, что лапушка растение; но есть нѣсколько соображеній, говорящихъ въ пользу такого предположенія. Въ словарь Даля слово „лапушка“ объясняется, какъ „ласковый привѣтъ женщинѣ“, это подтверждается и пѣснями. Нѣсколько ниже у Даля говорится: „лапушка—дятлинъ, трилистникъ, клеверъ“. У Анненкова ²⁾ тоже упоминается лапушка—это *Trifolium pratense*, клеверъ, красная шапка, что

¹⁾ Вопраманъ встрѣтился намъ только въ этой пѣснѣ; что это за растение, едва ли возможно рѣшить; нигдѣ ничего подобнаго намъ не удалось найти.

²⁾ *Анненковъ*, Ботаническій словарь.

виолнѣ совпадаетъ съ данными Далия. Цвѣты у нея, по Гофману, ¹⁾ рѣдко бывають бѣлые, большею частью—или блѣдно-красные, или пурпуровые; цвѣтеть съ апрѣля до октября. Все это говорить въ пользу нашего предположенія. Въ самомъ дѣлѣ, мы знаемъ, что красный цвѣтъ ассоціируется въ представленіи народа съ образомъ женщины, такъ что нѣтъ ничего невозможнаго въ томъ, что лапушка стала символомъ женщины, а затѣмъ потеряла въ нѣкоторыхъ мѣстахъ свое первоначальное значеніе и сдѣлалась ласкательнымъ словомъ. Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что время цвѣтенія лапушки-клевера захватываетъ собой раннюю весну и позднюю осень, такъ что народъ долженъ былъ обратить на нее вниманіе. Между тѣмъ совершенно непонятно, откуда иначе явилось такое ласкательное: если предположить, что непосредственно отъ „лапа“, подъ рубрикой которой ее помѣщаетъ Даль, то никакъ не представить себѣ процесса, какимъ оно могло образоваться: вѣдь, лапа говорится по отношенію къ животнымъ, а къ людямъ только въ непріязненномъ значеніи (ну, и лапа! и т. п.), а никакъ не въ ласкательномъ смыслѣ (клеверъ же могъ быть названъ лапушкой, разумѣется, и отъ „лапы“). Наше предположеніе указываетъ на виолнѣ естественное сближеніе образа цвѣтка съ образомъ женщины и затѣмъ на затемненіе въ сознаніи народа этой связи. Нѣчто подобное мы видимъ и съ другими символами. Голубчикъ, голубка, голубушка и ластушка (С., II, 25) очень часто употребляются безъ всякой мысли о голубяхъ и ласточкахъ, между тѣмъ какъ въ пѣсняхъ эти птицы нерѣдко являются символами людей. То же слѣдуетъ сказать и о лебеди, особенно въ ласкательной формѣ—„лебедушка“; на затемненіе первоначальнаго значенія указываетъ уже существованіе такихъ формъ, какъ „разлебедушка“ (С., III, 369). Эта форма такъ же, какъ и форма, на примѣръ, „раздуша“ (С., V, 671), могла образоваться только тогда, когда первоначальное значеніе потускнѣло или перестало сознаваться, при употребленіи слова въ переносномъ смыслѣ; нѣчто подобное мы указывали при лаврѣ—тамъ въ одной пѣснѣ является „разлавровый“ листъ (С., V, 96). Лапушка тоже нерѣдко встрѣчается въ формѣ „разлапушка“ (III., 736). Среди растеній можно указать еще нѣсколько примѣровъ образованія ласкательныхъ именъ, на основаніи ихъ символическаго значенія. Даль говоритъ, что ягода, ягодка—ласка, привѣтъ дѣвушкѣ, и она нерѣдко является именно образомъ женщины. У Далия же при-

¹⁾ Гофманъ, Ботаническій атласъ.

водится слово „рѣнушка“ (конечно, отъ рѣна), какъ ласковая „кличка круглой дѣвки“. Можно было бы, пожалуй, производить лапушку отъ лопуха; но ни у Даля, ни у Анисенкова нѣтъ на это даже и намека, такъ что, основываясь на всѣхъ этихъ соображеніяхъ, мы склонны признавать лапушку—ласкательное имя—остаткомъ отъ символики клевера, красной кашки. Она, большею частью, встрѣчается въ пѣсняхъ ¹⁾, какъ женское ласкательное: дочь, обращаясь къ матери, называетъ ее лапушкой (III., 808). Свекровь такъ же называетъ своихъ невѣстокъ (С., III, 22). Но, конечно, чаще всего лапушкой является любимая молодецъ дѣвушка, и это, какъ можно думать, основываясь на окраскѣ пѣвѣтка, было первоначальнымъ значеніемъ клевера. Только въ одной пѣснѣ намъ встрѣтилось ласкательное „лапушка“ по отношенію къ мужчигѣ: дѣвушка называетъ такъ любимаго ею молодца (С., III, 168). Мы остановились на лапушкѣ нѣсколько дольше, чѣмъ бы слѣдовало, потому, что ея судьба, какъ символа, очень характерна для символовъ вообще; ихъ исчезновеніе идетъ разными путями, и это—одни изъ ихъ: утрачивается связь между первоначальнымъ и символическимъ значеніемъ, при чемъ первоначальное или совсѣмъ забывается, или считается особымъ словомъ, сходнымъ только со словомъ-символомъ по звукамъ.

Полынь ²⁾ (*Artemisia Absinthium*) — „травонька горькая“, „злодѣйка“ (III., 740), говорится въ пѣсняхъ, и этими словами народъ указываетъ на характеръ ея символическаго значенія и его происхожденіе. Горечь является отличительнымъ признакомъ полыни, которая издавна пользуется въ народной медицинѣ широкимъ распространеніемъ ³⁾. Эта горечь и легла въ основаніе ея символическаго значенія. Мы уже видѣли нѣсколько растений, символика которыхъ получила грустный характеръ подъ влияніемъ ихъ горечи, то же случилось и съ полынью—она является почти вездѣ въ картинахъ горя и печали. Страданіе, при измѣнѣ любимаго человѣка, изображается вырастаніемъ полыни въ саду на „хлѣбородномъ“ мѣстѣ, гдѣ раньше царствовали счастье и любовь:

Полынька, полынька, травонька горькая!
Не я ти садила, не я сбѣла,

¹⁾ III.—735, 736, 773, 807, 808; С.—I, 57; II, 28, 102; III, 22, 358, 391 и мн. др.

²⁾ III.—740, 741, 784; С.—I, 396, 467; II, 605; III, 3, 21, 113, 222, 339, 451, 452; IV, 210; V, 324 и друг.

³⁾ *Флоринскій*, стр. 10 и 102—103.

Сама ты, злодѣйка, уродилася,
 По зеленому садочку разстеллася,
 Заняла злодѣйка, въ саду мѣстечко.
 Мѣсто доброе да хлѣбородное (С., III, 113).

Молодецъ называетъ надоѣвную ему дѣвушку полынью:

Разставаться сталь...
 ...Сталь полынней звать,
 Сталь: „полынунка, полынюна,
 Полынъ горькая!“ (С., III, 339).

То же сравненіе прилагается и къ постылой женѣ:

Ахъ, чужая-то жена—лебедь бѣлая моя;
 Когда о бокъ-то сидитъ, какъ огнемъ она налитъ...
 А свой-то жепя- полынъ горькая трава:
 Она о бокъ-то сидитъ, какъ морозомъ озвобитъ... (С., III, 452).

Такимъ образомъ, не только горе—полынъ, но и тотъ человѣкъ, который причиняетъ страданіе или неудовольствіе, тоже называется полынью. Но, съ другой стороны, и страдающій человѣкъ сравнивается съ ней; несчастная женщина говоритъ въ одной пѣснѣ:

„Вѣтры буйны лѣса вломятъ на меня,
 На меня, бѣду-горьку сироту,
 Ровнешенько на полынъ горьку траву“... (С., IV, 210).

Сюда же примыкаютъ и нѣсколько иной образъ:

Два поля чистыя, третье сорватое:
 Полынъ, перекаги поле...
 У пашей хатушки двѣ дочери счастливы,
 А третья безсчастная (С., III, 3).

Это поле съ полынью и травой перекаги-поле—тяжелая жизнь третьей, „безсчастной“ сестры: у ея мужа „огни неугасимые, войпа неутомимая“. Перекаги-поле мы встрѣтили только въ этой пѣснѣ; здѣсь оно стоитъ вмѣстѣ съ полынью, но, кажется, само по себѣ оно связывается съ мрачными представленіями. Даль сообщаетъ пословицу, связанную съ преданіемъ о перекаги-поле: „И перекаги-поле на виноватаго доносчикъ“; эта трава отрывается отъ корня и носится по полю; однажды она такимъ образомъ обнаружила убійство. У Даля и у Линенкова указывается нѣсколько растений, послѣднихъ имя „перекаги-поле“. Возвращаясь къ полыни, мы должны отмѣтить еще нѣсколько картинокъ. „Чужа дальняя сторона“, гдѣ приходится жить мо-

лодой женщигъ, по ея словамъ, „полынью взята, горькою горчицею усвянная“ (С., III, 21). Здѣсь опять вмѣстѣ съ полынью встрѣчается новый образъ — „горькая горчица“, подчеркивающая и безъ того грустное значеніе полыни ¹⁾. Полынь, согласно пѣснямъ, не имѣетъ цвѣтовъ, хотя въ дѣйствительности они у нея есть и имѣютъ желтоватую окраску; дѣвушка на вопросъ молодца, „еще что же безъ цвѣточку“, отвѣчаетъ:

„Безъ цвѣточку, любезный,
Полынь-травка“ (С., I, 467).

Это въ глазахъ народа дѣлаетъ образъ полыни какъ-то еще мрачнѣе, что, впрочемъ, вполне гармонируетъ съ той безотраднѣй картинѣй, которая рисуетъ происхожденіе этой печальной травы:

Со нескожъ слеза смѣшалась,—
Стала травушка горька,
Что горька она, горька,
Полынушкой налита,
Полынушкой названа
Для пѣвчицика дружка! (С., V, 324).

Итакъ, мы видимъ, что полынь является въ пѣсняхъ печальнымъ и преимущественно, женскимъ образомъ. Одна пѣсня какъ будто намекаетъ на лѣкарственные свойства полыни: раненый воинъ разбодитъ огонь „за Ураломъ за рѣкой“—

Онъ полынь-травушку рвалъ и да въ огоньчекъ блялъ...

...Да на нозалець пережигалъ да свои раны пересыпалъ (С., I, 396).

Въ вариантахъ полынь замѣняется ковылемъ или просто травой (С., I, 395, 397), такъ что можно считать, что полынь является здѣсь для полноты общаго мрачнаго тона картины.

Чернобыль ²⁾, или чернобыльникъ,—не что иное, какъ видъ полыни: *Artemisia vulgaris*. Встрѣчается онъ всего въ одномъ пѣсенномъ сюжетѣ, имѣющемъ нѣсколько вариантовъ, очень мало отличающихся другъ отъ друга:

И по берегу похаживала,
Чернобыль-траву заламливали...
Гусей-лебедей заганивала...
Не пора ли вамъ наплаватися?
И, на васъ гляди, наплавалась!

¹⁾ „Диній называлъ горчицу печальной“—*Гельмъ*, стр. 262.

²⁾ III.—586, 588; С.—II, 50, 54—56 и др.

Затѣмъ описывается встрѣча съ молодцемъ, который сталъ съ дѣвушкой „заигрывать“; кончается пѣсня ея опасеніемъ, какъ бы по раскраснѣвшемуся лицу не догадался о встрѣчѣ (С., II, 54).

Крапива ¹⁾ (*Urtica urens* или *dioica*) упоминается въ пѣсняхъ, какъ мы видѣли, вмѣстѣ съ шиповникомъ; уже это показываетъ, каково ея значеніе, какъ символа; народъ неоднократно называетъ ее „жегучей“, „шипучей“ и „стрекучей“; этими словами отмѣчается главный признакъ крапивы—ея свойство жечься, на что уже указываетъ и самое ея названіе, а въ одной пѣснѣ прямо говорится о крапивномъ обжогѣ:

Съ крапивы, крапивы тѣло прыщевѣть! (С., II, 333).

Это отличительное качество крапивы и легло въ основаніе ея значенія. Нелюбимому, старому мужу жена стелеть постель изъ крапивы—это очень распространенный мотивъ, съ которымъ мы уже знакомы (III., 404, 1154; С., II, 333—340 и др.). Постель изъ крапивы—несчастная супружеская жлзнь, которую устраиваетъ жена нелюбимому мужу. Какъ образъ печали и горькой жизни, крапива иногда помѣщается въ пѣсняхъ рядомъ съ осиной, на которой жена вѣшаетъ своего мужа:

Пусть осинушка слоится,
Мой старшій мужъ оборвется,
О шипицу уколется,
О кропивушку обожжется (С., II, 120).

Пѣсня, въ которой поется о печальной участи молодца, соблазвившаго королевскую дочь, начинается упоминаніемъ о крапивѣ:

Ужъ ты крапива ли, крапивушка жегучая,
У тебя сѣмечка, крапивушка, стрекучія (III., 887).

Жестокое сердце свекрови сравнивается съ корнемъ крапивы:

Что ни лютое коренье, то кропивное:
Что ни лютое сердечко, то свекровино (С., I, 74).

Тотъ же образъ повторяется и въ другой пѣснѣ:

Злое зелье крапивное,
Еще злѣе да люта свекра! (С., I, 79).

¹⁾ III., — 101. 887. 1154; С., — I, 15, 18, 74, 79; II, 120, 337, 338 и др.; IV, 810—813 и др.

Въ нѣсколькихъ пѣсняхъ—дѣвушка жнетъ крапиву:

Дѣвушка крапивушку жала,
Красная немножко нажала...
...Только я съ милымъ говорила...

И говорила не о счастьи и любви, а о разлукѣ и печали: молодцу нужно идти въ походъ и покинуть любимую дѣвушку (С., IV, 813).

Вотъ, тѣ образы, въ которыхъ встрѣчается крапива; какъ видно, она—символь печальный, образовавшійся подѣ влияніемъ того ея признака, который, очевидно, легъ въ основаніе ея различныхъ названій: „крапива“, „жгучка“, „жигучка“, „жегала“, „стрекавина“¹⁾. Вѣрованія, связанная съ крапивой, основываются въ корнѣ своемъ на этомъ же ея свойствѣ²⁾. Интересны въ этомъ отношеніи мѣры, которыя принимаютъ крестьяне противъ вѣдьмъ и нечистой силы: „для этого втыкають надъ окнами и дверьми избы вѣтки дубковъ, рябины, осины, крапивы“³⁾. Что дубъ охранялъ отъ духовъ—это очень понятно: оль, вѣдь, былъ священнымъ деревомъ—это остатокъ прежняго вѣрованія. Что же касается до рябины, осины и крапивы, то тутъ сразу поражаетъ, что всѣ онѣ являются символами печали, горя, страданія, и ихъ выставляютъ какъ защиту противъ нечистой силы, которая, по возрѣніямъ народа, тоже не свободна отъ страданій; мы уже говорили, что всѣ сверхъестественныя существа являются человѣкоподобными, хотя и надѣлены стихійными свойствами. Поэтому, многое, что причиняетъ страданіе человѣку, заставляетъ страдать и „демоновъ“. И они въ страхъ бѣгутъ, по мнѣнію народа, отъ символовъ горя: эти растенія заключаютъ въ себѣ волшебную силу, мысль о которой возникла въ сознаніи народа изъ представлений, легшихъ и въ основаніе характера этихъ символовъ. Такимъ образомъ, символика и обычай во многихъ случаяхъ имѣють точки соприкосновенія и нерѣдко вытекають изъ общихъ основаній; но мы, кажется, не ошибемся, если скажемъ, что символическое значеніе того или иного образа почти всегда вытекаетъ изъ вѣры въ одухотворенность природы.

*Реней*⁴⁾, насколько мы можемъ судить по тому скудному материалу, какой намъ даютъ пѣсни, принадлежитъ къ образамъ печаль-

¹⁾ *Анненковъ*, Ботаническій Словарь, стр. 165.

²⁾ *Мандельштамъ*, стр. 296.

³⁾ Тамъ же, стр. 307.

⁴⁾ С.,—II, 371, 372, 577—579.

нимъ, подобно крапивѣ и шипицѣ. Онъ связывается съ знакомыми уже намъ картинами тяжелой жизни замужемъ. Съ одной стороны, жизнь отравляютъ отношенія къ свекру и свекрови и воспоминанія о родномъ домѣ:

Вдоль по улицѣ репей, вдоль по широкой репей,
Репей стелется, свекровь сердится.
Не бывать репью ровень съ тынникомъ;
Не бывать свекру противъ бабушки!
Не бывать репью ровень съ тынникомъ;
Не бывать-то свекрови противъ матушки! (С. II, 577).

Съ другой стороны, замужество не приноситъ счастья, если мужъ неровня—и опять та же символическая картина:

Какъ и стелется репей,
Разстлается репей
По землѣ широко,
По плетню высоко.

Сестра сестру спрашиваетъ о житьѣ-бытьѣ и получаетъ отвѣтъ: „Мнѣ за старымъ жить — только вѣкъ должить“; другая сестра говорить: „Мнѣ за младшимъ жить — только плакати“. Но въ одной строфѣ, при той же символической картинѣ, говорится о жизни за ровней: „Мнѣ за ровней жить—только радоваться“ (С., II, 371). Выходить, будто и радостная жизнь символизируется репеемъ. Однако, кажется, что въ этомъ послѣднемъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ вліяніемъ аналогіи: народъ любитъ символическія картины, хотя иногда не отдаетъ себѣ яснаго отчета въ ихъ значеніи; видя при одной изъ сходныхъ по сюжету пѣсенъ символическое вступленіе, народъ прибавляетъ его и къ другой. Этимъ только и можно объяснить появленіе репея въ строфѣ, касающейся счастливаго замужества. У Даля и Анненкова указывается нѣсколько растений, посвящихъ названіе репея, но Даль замѣчаетъ, что чаще всего подъ этимъ именемъ разумѣется *Lappula tomentosa*—репейникъ; именно съ нимъ мы, кажется, и встрѣчаемся въ пѣсняхъ; онъ помѣщаютъ его возлѣ тына или плетня, а это вполне соответствуетъ дѣйствительности: репейникъ растетъ „вдоль изгородей, заборовъ, на пустыряхъ“ ¹⁾. Его колючія головки, обладающія способностью прицѣпляться, дали матеріалъ для нѣсколькихъ загадокъ; вотъ одна: „На полѣ на титенскомъ стоитъ дубъ веретен-

¹⁾ Э. Постель. Для ботаническихъ экскурсій.

скій; кто къ нему ни подойдетъ, тотъ добромъ не отойдетъ“ ¹⁾. Это свойство и сблизило репейникъ съ шипицей и крапивой.

Осока ²⁾ (*Sagex*) является символомъ горя; за нее хватается дѣвушка и обрѣзаетъ себѣ руки:

Не осокой мнѣ обрѣзало
А обрѣзало у молодежьоньки
Печалью лютою, великою (III., 2276).

Осока въ этой пѣснѣ называется „рѣзучей“, чѣмъ и указывается на ея отличительное свойство; имъ обусловливается печальное направление символа, на что оказала вліяніе и болотистая мѣстность, въ которой, преимущественно, растетъ осока; интересна въ этомъ отношеніи слѣдующая символическая картина:

Д гусей, млада, гнала....
... По осокѣ, по травѣ,
По болотной по водѣ....
Привывайте, гуси сѣрые,
Ко осокѣ, ко травѣ....
... Ко болотной ко водѣ!
Такъ и мнѣ, молодѣ,
Ко чужой сторонѣ....
... Ко свекру батюшкѣ!.. (С., II, 607).

Осока и болото сопоставляются здѣсь, очевидно, съ тяжелой жизнью у свекра. Иногда осокой называется, въ противоположность чужой, своя жена:

Чтой чужа мужвая жена—то разлапушка моя;
Что и своя мужная жена—осока да мурава (С., III, 458).

Любопытно здѣсь сопоставленіе осоки съ лапушкой—оно какъ будто указываетъ, что и лапушка растеніе. Этимъ исчерпывается все, что у насъ есть для опредѣленія значенія осоки. Но и это немного даетъ полную и строго выдержанную картину ея грустнаго символическаго значенія.

Ковыль ³⁾ (*Stipa pinnata* и *capillata*) растетъ въ „дикой степи“; второй видъ—*Stipa capillata*—называютъ еще, согласно Далю и Анненкову, „иголкой“ и „овечьей-смертью“. Это уже опредѣляетъ напра-

¹⁾ *Даль*, Пословицы, стр. 1069.

²⁾ III.—543, 2276; С.—II, 606, 607; III, 458 и др.

³⁾ III.—1242, 1247, 1937; С.—I, 343, 395, 402, 412, 487—490; II, 337; III, 386, 441, 513, 533; V, 424 и др.

вленіе его символики; но самыя эти названія объясняются свойствами растенія: названіе ковыля возможно, какъ указываетъ Даль, производить отъ глагола „ковылять-колыхаться“, что уже сразу рисуетъ картину волнующейся степи; „пголка“ и „овечья-смерть“ объясняются въ зависимости отъ свойства сѣмени ковыля, которое снабжено винтовымъ стержнемъ, позволяющимъ ему зарываться въ землю; это самозарываніе обусловливается большей или меньшей влажностью воздуха¹⁾; попадая въ шерсть овецъ, сѣмя начинаеть сверлить кожу животнаго, и это, конечно, послужило поводомъ для подобныхъ названій. Такимъ образомъ, свойства ковыля не могли способствовать развитію свѣтлыхъ представленій, и мы видимъ, дѣйствительно, что большинство пѣсенъ, гдѣ встрѣчается ковыль, проникнуты грустнымъ настроеніемъ. Онъ часто служитъ ложемъ умирающему молодцу:

Мнѣ постелюшка, доброму молодцу, ковыль-трава постлана...
(С., I, 412).

Мы уже указывали, что трава-мурава, растающая на трупѣ, не что иное, какъ ковыль, что и подтверждается однимъ варіантомъ (С., I, 415). Ковыль служитъ постелью молодцу и дѣвницѣ; молодець, распросивъ ее о родѣ-племени, узнаеть въ ней свою сестру: „ты моя сестрица, горькая горетница!“ (Ш., 1247). Предсмертная тоска молодца сопоставляется съ картиной разстилающагося ковыля:

Не шелковая ковыль травушка разстилалася;
Запалася, замоталася добрый молодець...

Онъ просить перевезти его черезъ рѣку—„какъ пришелъ-то, братцы, мой послѣдній часъ“... (С., I, 343). Въ другой пѣсенѣ казакъ сжигаетъ ковыль и „перевиваетъ“ свои раны—образъ уже знакомый намъ (С., I, 395). Нѣсколько пѣсенъ рисуютъ картину степного пожара, подпаливающаго крылья ясному соколу—доброму молодцу:

Загоралась въ чистомъ полѣ ковыль-трава,
Добиралась до блага каменя.
На камнѣ сидѣлъ младъ ясенъ соколы,
Подпалитъ онъ свои крылушны... (С., I, 489).

Вообще, возгораніе ковыля—горе, несчастье:

Загорались въ полѣ ковыля,
Замирало у молодца сердце...

¹⁾ Гофманъ, Ботанич. атласъ. стр. XXVIII.

Онъ подозрѣваетъ измѣну жены (С., III, 533). Въ одной пѣснѣ ковыль встрѣчается вмѣстѣ съ крапивой:

Трава моя, травушка,
Трава моя ковыля,
Стрекучая крапива!
Уси трава у лугъ легла (С., II, 337).

А дальше идетъ очень обычное повѣствованіе о несчастномъ замужествѣ. Молодецъ, взявшій себѣ жену „не по мысли“, собирается засушить ее, чтобъ она не мѣшала ему пользоваться счастьемъ:

Исповысушу жену
Суше травки ковыльека... (С., III, 441).

Изушить, засушить — причинить страданіе, какимы бы то ни было образомъ; дѣвушка, напимѣрь, жалуется, что она страдаетъ отъ любви:

Молодой боярскій сынъ меня засушилъ,
Суше вѣтра, суше вихора,
Суше травушки подкошенной (III., 749).

Изъ этихъ пѣсенъ видно, что ковыль связывается съ грустными образами; но въ двухъ пѣсняхъ онъ, повидимому, измѣняетъ этому значенію. Дѣвица въ такихъ выраженіяхъ описываетъ чужую сторону:

На несчастной сторонѣ,
Здѣсь травонька не растетъ,
Ковыль травоньки не растетъ,
Здѣсь цвѣточки не цвѣтутъ... (С., III, 386).

Ковыль стоитъ здѣсь рядомъ съ травой и цвѣтами—символами свѣтлыми—и какъ будто отожествляется со счастьемъ, котораго нѣтъ на чужбинѣ. Примемъ однако во вниманіе, что значеніе ковыля затемняется здѣсь рядомъ стоящими образами, а кромѣ того—что мы не можемъ требовать отъ народныхъ произведеній строгой послѣдовательности: слишкомъ много разнообразныхъ вліяній они испытываютъ; очень возможно, что здѣсь просто позднѣйшая прибавка. Въ другой пѣснѣ любовь молодца ставится въ параллель съ такой картиной:

На горушкѣ ковыль-травка
Не стелется, вьется....
У добраго молодца сердце бьется....
... Къ сударушкѣ вьется! (С., V, 424).

Тутъ играетъ больше роль положеніе ковыля, а не онъ самъ — онъ вьется, а этотъ образъ для многихъ растеній является съ однимъ

общимъ свѣтлымъ значеніемъ. Изъ всего этого мы видимъ, что ко-выль, въ большинствѣ случаевъ, является печальнымъ образомъ, связаннымъ, преимущественно, съ судьбою молодца.

Былина ¹⁾, упоминаемая въ немногихъ пѣсняхъ, согласно Далю, то обозначаетъ какую-нибудь траву вообще, то особое растеніе—болотный багуль (Cassandra calyculata). Эта двойственность проглядываетъ какъ будто и въ пѣсняхъ: въ слѣдующихъ словахъ, напримѣръ, она, повидимому, отождествляется съ травой вообще:

Я сама дружка повысушу,
Я любезнова повызноблю
Суше той травиночки,
Полевой былиночки (Ш., 748).

Но, съ другой стороны, есть пѣсня, въ которой былина отдѣляется отъ травы:

Не свивайся, не свивайся, трава, со былинкой,
Не лестися, не лестися, голубь, со голубкой,
Не свывайся, не свывайся, молодець, съ дѣвницей... (С., IV, 149).

Остальная часть пѣсни посвящена разставанію влюбленныхъ и слезамъ. Значить, въ этомъ мѣстѣ былина подходитъ по значенію къ осоки и полыни, рядомъ съ которой она помѣщается и самимъ народомъ:

Изсушилъ парень дѣвчонку, что въ полѣ былинка,
Что въ полѣ былинка, въ саду полынника... (С., V, 459).

Только въ этихъ двухъ пѣсняхъ мы и можемъ видѣть, съ извѣстною увѣренностью, въ былинѣ особое растеніе, и тутъ она является печальнымъ женскимъ образомъ. Въ другихъ же пѣсняхъ нельзя навѣрно сказать, что подразумѣвается подъ былинной. Напримѣръ:

Не былопочка въ полѣ запаталася,
Запаталася у молодца головушка
На чужой дальней сторонущѣ (Ш., 1077).

Здѣсь былина—мужской образъ; но, багуль ли это, рѣшить нельзя.

Мята ²⁾ (Mentha разл. виды)—образъ въ великорусскихъ пѣсняхъ рѣдкій; это заставляетъ думать, что она и встрѣчается въ Велико-

¹⁾ Ш.—748, 1077; С.—IV, 149; V, 301, 459.

²⁾ Ш.—359, 425, 1988, 2096, 2106; С. — IV, 212, 213, 329, 330, 764—766; V 283 и друг.

зрѣеи рѣдко; а въ такомъ случаѣ, это—*Mentha piperita*, растущая, преимущественно, „въ южной и юго-западной Россіи“¹⁾: это — перечная мята, употребляемая въ медицину и называемая народомъ „холодяпкой“, въ зависимости отъ того ощущенія, которое получается, если взять ее въ ротъ. Если, какъ мы знаемъ, любовь ассоциируется въ представленіи людей съ огнемъ и жаромъ, то холодъ — съ чувствомъ равнодушія, незнакомствомъ съ любовью: холодность является иногда синонимомъ равнодушія. Пѣсенные сюжеты, касающіеся мяты очень однообразны: можно отмѣтить всего двѣ — три картины, различныя по содержанию. Большинство близко подходит къ слѣдующей:

Не щипи-ка, бѣль-вудривъ, душманную мяту!
Я не для тебя садила, не для тебя поливала;
Для того я садила, кого я любила... (С., IV, 330).

Дѣвушка относится ко всѣмъ равнодушно, и мята продолжаетъ расти; только одинъ можетъ ее защипать или потоптать — это тотъ, кого она любитъ и для кого хранитъ въ чистотѣ свое чувство. Такимъ образомъ, мята является символомъ дѣвственности. Певѣста обращается къ отцу съ такими словами:

Остаются мои всѣ цвѣтики у тебя:
Рутва мята, пахучіе васильки...
...Поливай же ты мои цвѣтики частенько (III., 2096).

Съ выходомъ замужъ дѣвственности певѣсты остается въ домѣ ея родителей въ образѣ цвѣтовъ: рутва-мята — дѣвичество, васильки — связанное съ нимъ счастье и веселье. Послѣ благословенія помолвленныхъ, жениху поютъ:

„У насъ въ огородѣ
Ни хмель, ни росада. --
Пахучая мята
Вся переломата,
Въ пучки повязата,
За тынъ побросата“ (III., 1988).

Это картина окончившейся дѣвчійей жизни. Что касается до рутвы — руты (*Ruta graveolens*), относимой Гофманомъ къ полукустарникамъ, то она является въ пѣсняхъ еще рѣже. Мы можемъ ее указать еще въ одной лишь пѣснѣ:

¹⁾ Э. Постель, Для ботаническихъ экскурсій.

Рутва, рутва! желтый цвѣтъ!
 Что тебя Пструпя долго пѣтъ?
 А ужо тебя, Гапуля, прождалась (Ш., 2106).

Повидимому, она символизируетъ здѣсь разлуку. Мята встрѣчается еще въ двухъ пѣсняхъ, но, кажется, безъ символическаго значенія, почему мы и не принимали ихъ во вниманіе: она просто поставлена для созвучія стиховъ, какъ и другія растенія въ той же пѣснѣ:

Во первомъ садѣ у милого росла трава мята;
 Не за то ли милый любить, что я не богата? и т. д. (С., IV, 213).

Лебеда ¹⁾ является только при одномъ пѣсенномъ сюжетѣ, который повторяется въ нѣсколькихъ вариантахъ. Вотъ, одинъ изъ нихъ:

И поѣю лебеду на берегу,
 Свою крупную расадушку.
 Погорѣла лебеда безъ воды...

Дѣвица посылаетъ за водой казака, но онъ не возвращается, и ей остается только горевать, что у нея пѣтъ „ворона коня“: она бы „вольная казачка была“... (С., V, 764). Лебеда является здѣсь, повидному, скрытымъ чувствомъ любви; нужна только вода, чтобы это чувство не исчезло—чтобы лебеда не поблекла. Трудно сказать, какъ образовалось это значеніе лебеды: препятствуетъ этому, съ одной стороны, однообразіе пѣснѣ; а съ другой — невозможность опредѣлить, какое растеніе разумѣется здѣсь: подъ именемъ лебеды являются растенія *Atriplex* и *Chenopodium*.

Хмѣль ²⁾ (*Humulus Lupulus*) получилъ свое символическое значеніе въ зависимости отъ своихъ внутреннихъ свойствъ и отъ дѣйствія ихъ на человѣка. Хмѣль извѣстенъ на Руси съ очень давняго времени: „Линней утверждалъ, ... что въ числѣ другихъ кухонныхъ овощей... хмѣль пришелъ, во время великаго переселенія народовъ, издали, изъ Россіи, въ собственную Европу“ ³⁾. Широкое распространеніе хмѣля находится въ зависимости отъ лупулина, содержащагося въ немъ: у него „прицвѣтнички и околочвѣтнички усѣяны

¹⁾ Ш.—264, 266, 558, 1257; С.—IV, 212; V, 764—770 и др.

²⁾ Ш.—419, 420, 422—424, 612, 645, 840, 857, 917—919, 1009, 1223, 1237, 1808, 1820, 1911, 2396, 2411, 2427; С.—I, 501—503; II, 422—426; III, 158, 160, 164—175, 281—283, 285; IV, 225, 248 и др.

³⁾ *Генъ*, стр. 282.

желтыми желѣзками, содержащими лупулинъ, горькое ароматическое вещество, которое сообщает пиву горечь и прочность“ ¹⁾). Вліяніе его на организмъ человѣка было давно извѣстно и примѣнялось, какъ лѣчение ²⁾). Въ зависимости отъ этого установилось и его символическое значеніе, связанное съ нѣкоторыми обычаями. Новобрачныхъ осыпаютъ хмѣлемъ, при чемъ приговариваютъ:

Какъ хмѣль легокъ и веселъ,
Такъ будьте и вы легки и веселы (Ш., стр. 748).

Иногда, кромѣ хмѣля, осыпаютъ еще и житомъ, что отмѣчается въ одной пѣснѣ:

Пусть отъ жита —
Житіе доброе,
А отъ хмѣля —
Весела голова! (Ш., 1808).

Такимъ образомъ, и въ пѣснѣ и въ обычаѣ хмѣль является символомъ веселья; молодецъ въ другой пѣснѣ обращается къ хмѣлю:

Охъ! хмѣлюшка, хмѣлюшка,
Веселая головушка!
Завейся мой хмѣлюшка,
На мою сторонушку!

Молодецъ тягочится одиночествомъ своей холостой жизни и хочетъ любви и брачнаго веселья (С., III, 285). Свиваніе хмѣля съ травой сопоставляется съ любовью молодца къ дѣвницѣ:

Не сплетайся, не свивайся, хмѣлюшка, съ травной!
Не свывайся, не слюбляйся, молодецъ, съ дѣвчиной! (С., IV, 225).

Хмѣль, значить, ставится въ параллель съ молодецъ:

Гдѣ ты, хмѣлекъ зимовалъ,
Что не развивался?
Гдѣ ты, паревъ, почевалъ,
Что не разувался? (Ш., 1820).

Особенно часто хмѣль касается свадьбы и свадебнаго веселья:

Съяли дѣвушки ярый хмѣль,
Съяли огъ, приговаривали:
Расти, хмѣль, по тычинкѣ вверхъ!

¹⁾ Гофманъ, Ботанич. атласъ.

²⁾ Флоринскій, стр. 49.

Безъ тебя, безъ хмѣлинушки, не водится:
 Добрыя молодцы не женятся,
 Красныя дѣвушки замужъ нейдутъ (Ш., 917).

Тутъ хмѣль частью теряетъ свое символическое значеніе, и вся картина отражаетъ въ себѣ дѣйствительность—она указываетъ на обычай варить къ свадьбѣ пиво. Здѣсь, какъ и во многихъ другихъ пѣсняхъ, хмѣль имѣетъ скорѣе чисто реальное значеніе, чѣмъ символическое. Вотъ, на примѣръ, пѣсня, въ которой, хотя и есть намекъ на символику хмѣля, но вмѣстѣ съ тѣмъ на первый планъ выступаютъ его реальныя качества:

Ахъ ты, хмѣль, мой хмѣль, веселая голова,
 Веселая голова, широкая голова!
 Отъ чего, мой хмѣль, зарождаешься?
 По чему, мой хмѣль, поднижасься?
 Зарождался хмѣль отъ сырой земли,
 Поднялся хмѣль по тычинкѣмъ вверхъ (С., II, 422).

Затѣмъ идетъ печальная повѣсть о пьянствующемъ мужѣ и горюющей женѣ—повѣсть, оканчивающаяся картиной полного разоренія и нищенства. Хмѣль уже не символъ—къ нему народъ обращается, какъ къ виновнику бѣдствія; но символическое значеніе его еще связать въ названіи „веселая голова“. Хмѣль, какъ символъ, обозначаетъ веселье и счастье; хмѣль, какъ таковой, не всегда несетъ съ собой веселье: онъ очень часто и въ пѣсняхъ является причиною бѣдствій, не даромъ въ одномъ мѣстѣ говорится, что „уродилася хмѣлина на гнилой щепочкѣ“ (С., II, 425). Въ слѣдствіе такой двойственности довольно трудно установить, гдѣ мы имѣемъ дѣло съ хмѣлемъ-символомъ. Иногда можно указать и тотъ и другой элементъ—и символическій и реальный:

Ой, за рѣчкою хмѣль, за быстрою хмѣль,
 Когда-бъ этотъ хмѣль на моей сторонѣ,
 Во моемъ во саду, обѣ изгороду,—
 Нарвала бъ я хмѣлю, хмѣлю лроваго,
 Наварила бъ янва, лива молодого...

Позвала бы молодая „гостя дорогаго — своего брата роднаго“: онъ не часто къ ней ѣздитъ, не часто гоститъ, а когда и гоститъ, то тоскуетъ и скорѣй торопится уѣхать „со двора со зятнинова“ (С., III, 160). Реальное значеніе хмѣля ясно изъ самаго его назначенія—изъ него сестра собирается варить пиво, но есть здѣсь и символъ: счастья

нѣтъ—нѣтъ хмѣля; онъ за рѣчкой; но счастье возможно, когда хмѣль окажется на этой сторонѣ, когда хоть кто-нибудь заглянетъ изъ родной семьи. Мы приведемъ еще только одну пѣсню, гдѣ символическое значеніе хмѣля несомнѣнно:

Пильоли меня хмѣлина разыгрывала,
 Какъ и нынче меня хмѣлина разняла.
 Разняла меня хмѣлина,
 Полюбилъ щеголь дѣтина...
 ...Онъ зажегъ сердце ретиво (Ш., 645).

Опьяненіе хмѣлемъ сопоставляется здѣсь съ любовью, и это не противорѣчитъ основному его значенію: во всѣхъ вариантахъ этой пѣсни нѣтъ ни слова печали—любовь радостная, взаимная служить для нихъ содержаніемъ. Сравнительная скудость символическихъ образовъ объясняется тѣмъ, что реальное значеніе хмѣля было для народа очень велико, и оно, поэтому, заслонило собою поэтическія картины, созданныя творческой мыслью народа на основаніи свойствъ хмѣля—свойствъ, лежащихъ и въ основѣ его реального значенія.

Ленъ ¹⁾ (*Linum usitatissimum*) и образы, связанные съ нимъ, касаются, преимущественно, разныхъ положеній дѣвушки и молодой женщины. Въ поговоркѣ на первый дождь ленъ названъ дѣвкинѣмъ: „На бабину рожь, на дѣдову пшеницу, на дѣвкинъ ленъ поливай ведромъ“. И въ пѣсняхъ, какъ и въ дѣйствительности, ленъ составляетъ предметъ заботъ женщинъ. Въ одной игровой пѣснѣ отражается, хотя и въ общихъ чертахъ, тотъ процессъ, которому подвергается ленъ, при его обработкѣ; при этомъ есть намекъ, что все содержаніе пѣсни не болѣе, какъ символъ:

„Ты удайся, удайся, мой ленъ,
 Ты удайся, мой бѣленькій,
 Полюбися, дружокъ миленькій!“ (Ш., 388).

Въ другихъ вариантахъ послѣдній стихъ поется иначе: „Не кручись (не журись ты), мой миленькой!“ Во всѣхъ этихъ случаяхъ рѣчь идетъ о любви, или, вѣрнѣе, о готовности дѣвушки къ любви и браку. Въ большинствѣ пѣсней это выражается образомъ сѣянія льна; его топчетъ и рветъ молодецъ, желающій посвататься за дѣвицу:

Сѣяли дѣвушки ленъ.
 Повадился Васи щеголецъ—

¹⁾ Ш. — 388, 389, 429, 430, 523, 565, 598 — 600, 624, 792, 1070, 1229, 1268, 2051; С. — II, 555, 556, 635, 642, 643; III, 480 и др.

Весь ленокъ притопталъ,
 Всѣ головки посорвалъ...
 ...„Выйди, дѣвушка, за меня!“ (Ш., 523).

Ухаживающіе парни „торять“ дорожки среди льна:

Что на этомъ на ленку
 Три дорожки пролегло,
 Три мальчишки пробѣгло.
 Я не знаю какъ быть,—
 Съ трехъ котораго любить (Ш., 565).

Въ одной пѣснѣ молодець вьетъ себѣ изъ льна вѣнокъ:

Со льну цвѣты сорывать...
 ...Вѣнокъ себѣ совивать,
 На головку надѣвать,
 Красну дѣвку цѣловать (С., Ш, 480).

Забота о томъ, съ кѣмъ придется таскать ленъ—раздѣлять любовь,
 причиняетъ дѣвушкамъ серьезное горе:

Охъ, стала плакать, вой-да, горевать,
 Охъ, съ кѣмъ ляночекъ буду брать? (Ш., 792).

Молодая отказывается „брать ленъ“ со свекромъ—„это не бранье,
 а все гореванье“! Со свекровью—„все ворчанье“, и только съ „ладой“
 настоящее „бранье,—все цѣлованье“! (С., II, 635). Роса, падающая
 на ленъ, роса холодная—горе на чужой сторонѣ, въ домѣ свекра:

На ленъ роса пала,
 На ленъ студеная.
 Кому роса теплая,
 А мнѣ холодненькая,
 На чужой сторонкѣ
 Во чужова батьки (Ш., 1268).

Чѣмъ выше ленъ, тѣмъ жизнь счастливѣе; поэтому, понятно, что ко
 льну обращаются съ просьбой расти повыше:

„Ты расти, ленокъ.
 Наравнѣ съ тынкомъ!“

Ниже сравнивается жизнь въ родномъ домѣ съ жизнью у свекра:

А не быть ленку
 Супротивъ тынку,—
 Не быть тестю
 Противъ батюшки... (Ш., 1070).

Тоска по родинѣ, даже и при хорошихъ отношеніяхъ съ мужемъ и его родными, изображается картиной колебанія льна:

Подъ горой лень-лень
Вѣтромъ раздуваетъ... (С., II, 555).

Вотъ, главнѣйшіе сюжеты, связанные въ представленіи народа со льномъ, который, такимъ образомъ, является женскимъ символомъ—символомъ дѣвушки и молодой. Въ сущности, большею частью, онъ ставится въ параллель даже не съ женщиной, а только съ извѣстной стороной ея душевной жизни,—это изображеніе чистаго чувства любви къ „суженому“, съ одной стороны; а съ другой—къ своему дому, гдѣ созрѣло это чувство. Какъ же могла установиться такая связь представлений? Въ пѣсняхъ невольно обращаетъ на себя вниманіе то обстоятельство, что лень неоднократно называется бѣлымъ; ничего бѣлаго въ его наружности нѣтъ, а между тѣмъ дѣвушки свѣютъ „бѣлый лень“ и т. д. Одна пѣсня разрѣшаетъ этотъ вопросъ:

Уродися, бѣлый лень,
И топокъ, и дологъ,
И бѣль волокнистый! (С., II, 635).

Значить, лень называется бѣлымъ въ зависимости отъ бѣлыхъ волоконъ, идущихъ на выдѣлку нитокъ и холста и, слѣдовательно, хорошо извѣстныхъ народу. Мы уже упоминали, что представленіе бѣлизны ассоциируется съ представленіемъ женщины, а въ этомъ случаѣ связь дѣлается еще болѣе близкой въ виду того, что чувство—иногда внутреннее даже и въ глазахъ народа—сопоставляется съ качествомъ льна, то же скрытымъ внутри.

Конопля ¹⁾ (*Cannabis sativa*) въ народномъ представленіи близко стоитъ ко льну. Есть даже загадка, которая обозначаетъ и лень, и коноплю: „Самъ жилистый, попки глиняны, головка масляна“ ²⁾. Это совершенно естественно, такъ какъ оба эти растенія идутъ на удовлетвореніе однихъ и тѣхъ же нуждъ народа, что зависитъ отъ ихъ одинаковыхъ свойствъ. Въ загадкахъ отмѣчается разница между собственно коноплей и посконоью (конопля, вѣдь, двудомное растеніе): „Посѣешь—родится, а на сѣмена не годится“. Въ пѣсняхъ мы этого

¹⁾ III. 1903, 1997; С.—I, 298; II, 296, 297, 391, 580, 616, 621; III, 417, 448; IV, 263, 264 и др.

²⁾ Даль, Пословицы, стр. 1071.

разграниченія не находимъ; здѣсь говорится вообще о коноплѣ, при чемъ отмѣчаются тѣ же свойства, что и во льнѣ:

Уродись, мой конопель,
Тонокъ, дологъ, бѣлъ, волокнистъ! (С., V, 263).

Но, несмотря на это, символика конопли является съ особыми чертами, несвойственными символикѣ льна: она отличается болѣе грустнымъ характеромъ, что и отражается въ одной пѣснѣ, гдѣ сопоставляются оба эти растенія:

Какъ въ полѣ, въ полѣ сѣянь бѣлый ленъ;
Сѣючи бѣлый ленъ, растетъ конопель;
Что на этомъ на конопилкѣ сидитъ соловей;
Сидючи, соловьюшка пѣсенки поетъ;
Меня, молоденьку, тоска-горе беретъ (С., II, 391).

Беретъ тоска, такъ какъ приходится жить со старымъ, больнымъ мужемъ: она сѣяла ленъ—думала о счастья съ любимымъ человекомъ, а уродилась конопля. Этой пѣсней намѣчается общій характеръ символики: являясь, преимущественно, женскимъ образомъ, конопля символизируетъ, какъ и ленъ, или дѣвицу-невѣсту, или молодую,—словомъ, такъ или иначе касается замужества. Но волокна конопли грубѣе волоконъ льна, отчего и символическое значеніе ея не такое свѣтлое: тутъ уже нѣтъ почти образовъ любви, тутъ нѣтъ счастья, хотя нѣтъ и особеннаго несчастья; это жизнь изо дня въ день, жизнь съ тяжелымъ трудомъ и мелкими неприятностями. Наиболѣе частымъ является образъ сѣянія конопли. Женщина, очутившаяся на чужбинѣ въ чужой семьѣ, которая взваливаетъ на нее всевозможную работу (С., II, 616), сѣетъ коноплю:

Сѣю, вѣю, разсѣваю конопельшко.
Сѣючи, въ коноплю да приговариваю:
Взойди, взрости, конопельшко,
Что не низко, не высоко, —
Въ саду съ вишевьемъ равно... (С., II, 621).

Это обращеніе къ коноплѣ съ просьбой вырасти повыше выражаетъ желаніе хоть самаго незначительнаго счастья: чѣмъ выше конопля, тѣмъ меньше несчастье, которое испытываетъ женщина—тѣмъ ближе къ вишеню, а, вѣдь, вишня-вишенья—образъ свѣтлый по своему значенію. Эта картина посѣва конопли почти во всѣхъ пѣсняхъ сопровождается рассказомъ о печальномъ замужествѣ: то мужъ дряхлый старикъ, то нелады съ мужниной родней, то—въ лучшемъ случаѣ—

мужь молодой (не вдовецъ съ кучою дѣтѣй), да и то „самъ третьей“ (С., II, 296), то-есть съ отцомъ и матерью—свекромъ и свекровью, съ однимъ именемъ которыхъ связывается представление о неприглядной жизни: не даромъ они называются „лютыми“ (С., II, 556). Во всѣхъ этихъ пѣсняхъ конопля связывается съ жизнью молодой замужней женщины, въ другихъ она сопоставляется съ дѣвушкой, какъ говорится, „на выданьи“:

У насъ въ городѣ конопля росла, конопельюшка,
Конопельюшка—красная дѣвушка (III., 1903).

Несчастье съ коноплей—горе дѣвушки:

Конопля, конопля зеленая моя!

Что жъ ты, конопля, невесело стоишь?

— Ахъ, какъ мнѣ, конопль, веселой стоять? и т. д.

Дѣвка, ты, дѣвушка, дѣвушка красная!

Что же ты, дѣвушка, невесело сидишь?

— Ахъ, какъ мнѣ, дѣвушкѣ, веселенькой быть?.. (С., I, 298).

Молодецъ, ухаживающій за дѣвушкой, въ нѣсколькихъ пѣсняхъ является подъ видомъ воробья, летающаго въ коноплю:

Повадился воръ-воробей

Въ мою конопельку летати,

Мою конопельку клевати...

Повадился молодецъ

Къ моей Марусенькѣ ходити,

Мою Марусеньку любити (С., V, 263).

Только въ двухъ пѣсняхъ, являющихся вариантами одной, конопля символизируетъ какъ будто мужчину; но на самомъ дѣлѣ это опять-таки изображеніе несчастнаго супружества—только по отношенію къ мужчине, какъ лицу страдающему:

Я посью конопельку

Не на пахану земельку.

Уродися, конопелька,

Тонка, долга, высокая...

На этой конопль сидитъ „дорога птица“ и проклинаетъ свою судьбу: „Ахъ ты, участь моя, участь, разнесчастная женитьба!“.. (С., III, 447). Въ заключеніе отмѣтимъ, что въ одной загадкѣ конопля сблίζεται съ сосной,—это могло оказать нѣкоторое вліяніе на характеръ ея символики: „Лѣтомъ сосенка—зимой коровка“¹⁾.

¹⁾ Даль, Пословицы, стр. 1071.

*Макъ*¹⁾ (*Papaver somniferum*) получилъ свое символическое значеніе въ зависимости отъ яркой окраски своихъ цвѣтовъ, которые называютъ „бѣлыми или розово-малиново-красными“²⁾. Самое выраженіе „маковъ цвѣтъ“ вызываетъ уже представленіе ярко-красной окраски. Поэтому, нѣтъ ничего удивительнаго, что въ пѣсняхъ постоянно встрѣчается сопоставленіе лица, щеки съ цвѣтомъ мака. Едва ли нужно приводить примѣры этихъ сопоставленій: они очень распространены и въ пѣсняхъ, и въ обыденной жизни. Въ силу своей окраски макъ и получаетъ значеніе символа женскаго; напримѣръ, въ одномъ причитаніи невѣста спрашиваетъ:

Что у васъ въ избѣ за садъ стоитъ,
 Что въ саду за макъ цвѣтеть?
 То стоятъ моя подруженьки.
 Одна маковка да поблѣднѣе всѣхъ... (Ш., 2342).

Подъ этой блѣдной маковкой невѣста подразумѣваетъ самое себя. Молодыя женщины тоже иногда называются макомъ:

Что и маковый цвѣтокъ, --
 То молодухки у насъ (Ш., 373).

Но это бываетъ гораздо рѣже; преимущественно, образъ мака соединяется съ образомъ дѣвушекъ: Даль приводитъ выраженіе— „сидѣть макомъ“, что значитъ „красоваться въ дѣвкахъ“. Въ одной пѣснѣ любимый молодецъ сопоставляется съ алымъ макомъ:

Какъ во садѣ макъ, макъ алешенекъ,
 Ой да люли, люли, макъ алешенекъ;
 Мой сердечный другъ веселепекъ (С., II, 583).

Алый цвѣтокъ вообще символизируетъ, какъ извѣстно, объектъ любви, а потому, и вполне понятно, что макъ могъ стать мужскимъ символомъ.

*Хмельная растенія*³⁾ играютъ въ жизни народа громадную роль, какъ главный источникъ пропитанія. Въ зависимости отъ этого находится и ихъ символическое значеніе, хотя, нужно замѣтить, встрѣчаются они въ пѣсняхъ довольно рѣдко. Намъ уже приходилось упо-

¹⁾ Ш.—373, 376, 1192, 1500, 1624, 1626, 1927, 2291, 2323, 2342; С.—II, 583 и мн. др.

²⁾ *Постель*, Для ботанич. экскурсій.

³⁾ Ш.—382—385, 433, 590, 695, 697, 698, 1032, 1040, 1041, 1093, 1192, 1221, 1808, 1979; С.—I, 168, 169; III, 90—92; IV, 708 и др.

минать о нѣкоторыхъ картинахъ, связанныхъ съ ними: польнѣ занимаетъ въ саду „мѣсто хлѣбородное“ (Ш., 740); ракитовъ кустъ вырастаетъ среди поля пшеницы (С., III, 92); молодыхъ обсыпаютъ житомъ и хмѣлемъ (Ш., 1808). Уже въ этихъ образахъ обнаруживается характеръ символики хлѣбныхъ растений: они обозначаютъ счастье, жизнь въ довольствѣ, богатство—словомъ, значеніе ихъ свѣтлое. Въ колядкахъ, высказывая хозяину разныя пожеланія, „коледовщички“ сулятъ ему хорошиі урожай:

Ему рожь густа,
Рожь ужиниста:
Ему съ колосу осмина,
Изъ зерна ему коврига...

Кромѣ пожеланія урожая въ чистомъ, реальномъ смыслѣ этого понятія, въ этихъ словахъ выражается вообще пожеланіе всякаго благополучія, что и подтверждается какъ будто концомъ пѣсни:

Надѣлись бы васъ Господь
И житьемъ, и бытьемъ,
И богатствомъ,
И создай вамъ, Господи,
Еще лучше того! (Ш., 1032).

Изъ картинъ, касающихся полевыхъ работъ, чаще всего встрѣчается жатва: она связана всегда съ отношеніями влюбленныхъ. На яровомъ полѣ происходитъ размолвка между дѣвушкой и парнемъ; послѣдствіемъ ея является смерть дѣвицы (Ш., 433). Здѣсь дѣвушка перевязываетъ парню руку, обрѣзанную серпомъ; кончается пѣсня опять размолвкой (Ш., 695). Въ одной пѣснѣ дѣвки жнутъ ямень, а мимо проѣзжаетъ молодецъ и выражаетъ желаніе взять замужъ одну изъ нихъ (Ш., 1979). Интересную картину даетъ намъ одна пѣсня:

Таня по полю ходила, бѣлу пшонушку полола,
Бѣлу пшонушку полола, черныи куколь выбирала,
Черныи куколь выбирала, на чужу межу бросала... (С., IV, 708).

Дальше идетъ символическая картина выхода дѣвицы замужъ. Что обозначаетъ здѣсь куколь? Намекъ на это, кажется, дается самой пѣсней: „бѣлая“ пшеница и „черныи“ куколь—очень краснорѣчивое сопоставленіе. Если пшеница вообще—счастье, то куколь, какъ сорная трава, можетъ обозначать несчастье, тѣмъ болѣе, что онъ называется чернымъ: куколь (*Luchnis Gitalo*) имѣетъ сѣмена чернаго цвѣта;

они отличаются горькимъ вкусомъ и ядовиты ¹⁾, на что указывается уже въ старинныхъ лѣчебникахъ. Всѣ эти признаки куколя заставляютъ насъ думать, что онъ является въ пѣснѣ печальнымъ символомъ—какимъ-нибудь препятствіемъ, мѣшающимъ счастью съ любимымъ человѣкомъ: но куколь выброшенъ на чужую межу, и пѣсня рисуетъ картину свадьбы. Пужло коснуться еще пѣсни о сѣяніи проса (Ш., 382—385). Въ этой игровой пѣснѣ можно видѣть, съ одной стороны, подобно Снегиреву, „представленіе изъ жизни народа земледѣльческаго и воинственнаго—набѣга, похищенія и выкупа невѣстъ“ ²⁾. Но, съ другой стороны, характерно, что пѣсня, начинаясь образомъ сѣянія, кончается выдачей дѣвушки (замужъ): это близко подходит къ образамъ сѣянія вообще. Въ пѣсняхъ, касающихся военнаго быта, пашни часто изображаютъ поле битвы (С., 432—437):

Какъ ухахано поле, оно не плугами,
Не плугами поле, оно не сохами,
А ухахано поле конскими копытами;
А усяно поле казацкими головами (С., I, 437).

Въ связи съ этими картинами находится образъ сѣянія горя. Кукушка рассказываетъ невѣстѣ о чужой сторонѣ:

Три поля горя насяны,
Печальѣ-го огоржены,
Горючѣмъ слезамъ поливаны.

Не такъ рисуется чужбина въ словахъ соловья:

Три поля шена насяны,
Весельемъ да обгоржены,
Радостью да исполиваны (Ш., 1444).

Горе, значить, можно посѣять, и оно вырастетъ, какъ вырастаетъ всякое растеніе. Но, съ другой стороны, горе и рождается: оно—живое и могущественное существо; отъ него никуда не укрыться, развѣ только въ могилу (С., I, 441). Доля человѣка, счастливая или несчастная, зависитъ отъ качества посѣяннаго сѣмени:

Ужъ вы дѣвки, вы дѣвушки,
Ваши горькія сѣмена,
Васъ немножко посѣяно.

¹⁾ Гофманъ, Бот. атласъ.

²⁾ Снегиревъ, Русск. простоп. праздн. и суевѣрн. обряды.

А дальше идетъ описаніе отъѣзда молодой изъ отцовскаго дома, гдѣ она „позабыла волю батюшкину“ и „лѣгу матушкину“ (III., 1964).

Капуста ¹⁾ (*Brassica oleracea capitata*) связывается съ образомъ молодой женщины; съ ней сопоставляются молодухи:

Что ни бѣлая капуста,—
То молодухи у насъ (III., 374).

А въ зависимости отъ этого, разныя положенія женщины или дѣвушки, особенно положенія, касающіяся замужества, обозначаются картинами, въ которыхъ является капуста. Упрекая молодца въ перемѣнѣ къ ней, дѣвушка съ горечью говоритъ:

Намъ къ чему было капусту садить!
Къ чему было огородъ городить! (С., II, 201).

Сажать капусту, слѣдовательно,—любить, стремиться къ браку... То же почти символизируютъ и другіе образы, встрѣчающіеся въ пѣсняхъ. Молодецъ хочетъ поломать капусту и побросать ее за тынъ—взять дѣвушку замужъ и увезти изъ отцовскаго дома:

Чья въ садикѣ капуста? Поломалъ бы я ее;
Поломавши капусту, за тынъ побросалъ...
Еще чей это теремъ изукрашенный стоять?...
...На перинушкѣ дѣвчоночка хорошеешкая?
Хороша, пригожа,—взять бы замужъ за себя (С., III, 300).

Образъ завиванія капусты почти всегда соединяется съ картиной паденія на нее дождя:

Вейся ли, вейся, капуста,
Вейся ли, вейся, бѣлая!
Во саду ли во зеленомъ
Гуляй душечка родная.
Какъ вечеръ на капусту,
Какъ вечеръ на бѣлую
Частый дождикъ поливалъ.
Въ кругу молодецъ гуляетъ,
Себѣ пару выбираетъ (III., 547).

Такимъ образомъ, завиваніе капусты, какъ кажется, сопоставляется народомъ съ готовностью дѣвушки къ браку и даже съ ея физическимъ сформированіемъ, намекъ на что можно видѣть въ слѣдующей пѣснѣ:

¹⁾ III.—290, 291, 321, 349, 363, 372, 374, 544—547, 1071, 1116, 1816, 1961; С.—II, 198—201, 279, 280; III, 149, 300, 301, 303, 340; IV, 166, 636, 637.

Всѣ добры люди капустушку заламывали,
А я, молода, въ огородѣ не была,
Не была, не заламывала.
Хоть капустушка не клубиста,
А я дѣвушка грудиста (III., 544).

Дѣвушка сажаетъ капусту въ своемъ огородѣ-саду, а молодецъ хочетъ купить капусты—любитъ дѣвушку:

Она капустку торговалъ,
Дѣвоюшку цѣловалъ.
Ему капуста не нужна,
Красна дѣвица мила (С., IV, 636).

Одинъ разъ встрѣчается хрѣнь-капуста въ такомъ же значеніи, какъ одна капуста:

Приходите въ огородъ
Хрѣнь—капусту полоть,
Кочанки не ломать!
Красныхъ дѣвокъ выбирать! (С., III, 340).

Хрѣнь одинъ встрѣтился намъ только въ слѣдующей пѣсенѣ:

Ахъ ты, хрѣнь мой, хрѣнь!..
...Что не я тебя сажалъ,
Что не я поливалъ.
Хрѣнь самъ взросъ,
Самъ кореньца ризнесь.
Вославите-ко-сь, болре,
Хрѣну выщипати,
Съ корня выкопати (III., 1072).

Повидимому, значеніе хрѣна въ этой пѣсенѣ подходитъ къ значенію капусты и касается замужества и женитьбы. Замѣтимъ еще, что кочни упоминаются иногда какъ будто въ значеніи мужского образа; въ одной изъ подблюдныхъ пѣсенъ мы находимъ, на примѣръ, такое четверостишье:

Сѣрая капуста—
Зеленый кочанокъ;
Они сбѣдуются,
Не разобѣдутся (III., 1116).

Вообще же говоря, капуста—образъ женскій. Это, конечно, обусловлено присущимъ ей признакомъ бѣлизны, которая очень часто отмѣчается въ пѣсняхъ. Бѣлая береза, бѣлый ленъ, бѣлая капуста,

бѣлая лебедь, бѣлая голубка—все это символы, близкіе другъ къ другу.

Ягоды—вообще ¹⁾ мы видѣли въ пѣсняхъ уже много разъ: онѣ, преимущественно, являются женскими образами. Здѣсь мы укажемъ только наиболѣе интересныя случаи. Нерѣдко „ягода“ употребляется въ смыслѣ женскаго ласкательнаго: „Здорова, черноброва! здравствуй, ягодка моя!“ (С., IV, 602). Иногда ягода бываетъ и мужскимъ образомъ, но—обыкновенно тогда, когда говорится сразу и о мужчинѣ, и о женщинѣ:

Ягода со ягодой сокатилася (Ш., 1768).

Къ сожалѣнію, въ этой пѣснѣ пропущенъ слѣдующій стихъ, и мы можемъ только догадываться, что подъ ягодами здѣсь разумѣются женихъ и невѣста. Символика ягодъ вообще касается сгнѣлыхъ представлений, но не такова символика ягодъ черныхъ. Мы видѣли, что черная смородина—образъ печали, горя; то же мы видимъ и для черныхъ ягодъ, когда не указывается, какому растенію онѣ принадлежатъ. Невѣста рассказываетъ свой сонъ въ одной пѣснѣ:

Не спалось, много видѣлось,
Будто я хожу по крутымъ горамъ,
Будто я беру черныя ягоды (Ш., 2214)

Мать разгадываетъ ей сонъ:

Крутыя горы—твое горе,
Черныя ягоды—горючія слезы (Ш., 2215).

Эти двѣ пѣсни еще разъ указываютъ, что черныя ягоды являются символомъ печали. Ягоды красныя, сгнѣлыя обозначаютъ пріязненное отношеніе, любовь, въ противоположность ягодамъ зеленымъ:

Я все ягоды срывала,
И зрѣлыя во стаканъ,
А зеленыя въ другой.
Я зрѣлыя—батюшкѣ,
А зеленыя—свекрушкѣ (С., II, 587).

Нужно еще отмѣтить встрѣчающіяся въ пѣсняхъ винныя ягоды; это, конечно, не плоды фигового дерева (*Ficus carica*); имъ народъ при-

¹⁾ Ш.—710, 712, 780, 861, 862, 882, 884, 885, 1252, 1371, 1645, 1768, 1823, 1832, 1908, 2214, 2215, 2430; С.—I, 46; II, 125—126, 205—207, 211, 214, 587, 588; IV, 602 и др., 831—834 и др..

писывасть опьяняющее свойство, подобно тому, какъ это приписывается винограду и хмѣлю:

Поиду ль я, выйду ль я
 Въ лѣсъ по малинушкѣ;
 Сорву ль я, вырву ль я
 Винную ягоду.
 Та ли вина ягода
 Взала, младу, ранила (С., IV, 831).

У нея является потребность любви. Подобную же картину мы видѣли при разборѣ винограда: отъ него дѣвица „разсудокъ потеряла“ (С., II, 92). Это сходство даетъ намъ возможность предположить, что винная ягода и есть виноградъ, или же это—названіе ягоды, созданной фантазіей народа, который склоненъ приписывать чувство любви, какъ и многія другія явленія душевной жизни, виѣшнимъ воздѣйствіямъ.

Вьюнокъ ¹⁾—символь дѣвчества и дѣвственности; онъ постоянно является атрибутомъ дѣвушекъ. Какъ на молодцѣ „красна шапочка“ и на молодицѣ платокъ, такъ на дѣвицѣ „вѣнокъ“ (III., 390). Вспоминая свою дѣвичью жизнь въ родномъ домѣ, молодая женщина такъ характеризуетъ ее:

Ахъ да я у матушки жила, какъ цвѣтокъ цвѣла...
 ...Ахъ да я у батюшки жила, какъ вѣнокъ плела... (III., 830).

Дѣвушка выходитъ замужъ и разстается со своимъ вѣнкомъ, который въ большинствѣ пѣсенъ вручается суженому:

Я за ровнюшку замужъ поиду...
 ...Изъ цвѣточковъ я вѣночекъ совью,
 И на ровнину головку надѣну (С., II, 307).

Но дѣвушка далеко не всегда сама вручаетъ свой вѣнокъ суженому: иногда онъ, помимо ея воли, достается тому или другому человѣку,—она, вѣдь, часто принуждена выходить замужъ „по волѣ батюшкиной“. „Достался вьюнъ старому“, и жизнь для обоихъ повобрачныхъ скоро дѣлается тяжелымъ бременемъ; „достался вьюнъ молодому“, и жизнь течетъ спокойно и счастливо (С., II, 344). Разставаясь со

¹⁾ III.—390, 482—485, 530, 539, 791—796, 830, 1030, 1062, 1194, 1217, 1218, 1234, 1241—1246, 1251, 1593, 1607, 1770, 1795, 1960, 2036, 2147, 2210, 2304, 2342; С.—II, 193, 194, 264, 268, 307, 317, 344, 354, 378; III, 480 и мн. др..

своей дѣвственностью, вручая молодцу своей вѣнокъ, дѣвушка просить его:

„Ты носи-ко, милой, да не скидывай,
Ты люби-во меня—не покидывай“! (III., 795).

Потеря вѣнка—потеря дѣвственности; этотъ потерянный въ хороводѣ вѣнокъ не могутъ найти и возвратить дѣвушкамъ ни отецъ, ни мать—его приносить ей милый:

Ладушка идетъ,
Вѣночекъ несетъ,
Милый мой идетъ,
Золотой несетъ (III., 1243).

Съ судьбой вѣнка тѣсно связана судьба дѣвушекъ; вотъ почему, въ пѣсняхъ постоянно встрѣчается гаданье о будущемъ по вѣнку; дѣвушки плетутъ вѣнки, бросаютъ ихъ и „завѣчаютъ“:

„Еще кто вѣнокъ подниметь,
За того я замужъ пойду“... (С., II, 194).

Если дѣвушка хочетъ знать, помнить ли о ней ее другъ, она пускаетъ вѣнокъ въ рѣку:

Тонетъ ли, не тонетъ ли вѣнокъ?
Тужить ли, не тужить ли дружокъ?—
Ахъ, мой вѣночекъ потонулъ,
Знать, меня мой милый обманулъ (III., 1244).

Этотъ образъ вполне понятенъ, если принять во вниманіе, что дѣвственный вѣнокъ долженъ храниться у молодца, которому онъ врученъ; онъ пересталъ хранить вѣнокъ—позабылъ дѣвушку, и образъ его—другой вѣнокъ—идетъ ко дну, давалъ тѣмъ знать объ измѣнѣ любимаго человѣка. Состояніе вѣнка выражаетъ чувства его обладательницы: въ одномъ мѣстѣ поется, какъ дѣвушки рвали на лугу цвѣточки и „вили-совивали золоты вѣночки“ для себя:

Встану ль я, встану напротивъ стараго.
Какъ старій-сть взглянетъ—золотъ вѣнокъ вынетъ,
Ванетъ онъ, ванетъ, въ полѣ засыхаетъ;
У дѣвушки сердце воеетъ, занываетъ.

II напротивъ—

Какъ миленькій взглянетъ,—вѣнокъ разгоратся,
Вѣнокъ разгоратся, велитъ цѣловаться (С., II, 378).

Вѣнокъ, какъ предметъ, по которому можно судить о будущемъ, является не только въ пѣсняхъ,—и въ дѣйствительности гадаютъ по его состоянію о судьбѣ дѣвушки; кромѣ бросанія вѣнковъ въ рѣку, завиваютъ еще вѣнки на березѣ (въ Семикѣ): „если сплетенные вѣнки завянутъ, то дѣвушка умретъ или выйдетъ замужъ,—если же не завянутъ, то останется въ дѣвушкахъ“¹⁾. Какъ кажется, это наиболѣе древнее толкованіе будущаго по вѣнку; съ теченіемъ времени оно видоизмѣнилось и получало въ разныхъ мѣстахъ разный характеръ; стали гадать не только о выходѣ замужъ, но, напримѣръ, о томъ, какая будетъ жизнь замужемъ—богатая или бѣдная и т. п., при этомъ увяданіе вѣнка толкуется въ смыслѣ неблагоприятномъ²⁾; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и нарнн завиваютъ вѣнки, но это, конечно, уже слѣдствіе затемненія символическаго значенія образовъ вѣнка и березы: несомнѣнно, что эти обычай стоятъ въ связи съ ихъ символической, какъ намъ уже приходилось это отмѣчать, при разсмотрѣніи березы. Изъ образовъ, касающихся вѣнка, слѣдуетъ обратить еще вниманіе на срываніе его съ дѣвушки молодымъ,—это тоже символъ брака, сватанья, и тутъ часто выражается враждебное отношеніе не-вѣсты и ея родныхъ къ жениху; въ пѣснѣ о „Рожѣ“, которая уже упоминалась, идетъ рѣчь о такомъ захватѣ вѣнка; молодецъ, нарядившись въ женское платье, выманиваетъ изъ дому любимую дѣвушку:

„Что это за подружка,
Что за косу хватаетъ,
Ленту снимаетъ?
Что это за подружка,
Что за голову хватаетъ,
Вѣночекъ снимаетъ“? (Ш., 1246).

Такихъ примѣровъ въ пѣсняхъ очень много, и понятно, почему же-нихъ перѣдко называется „сорви—вѣнокъ“; не-вѣсту предостерегаютъ:

Возгѣ тебя сидитъ сорви-вѣнокъ,
Сорви-вѣнокъ и згай-голова,
Згай-голова и разсыль-коса (Ш., 1770).

Въ другихъ пѣсняхъ не-вѣста даетъ жениху еще нѣсколько названій:

Онъ идетъ—расплети-косу,
Онъ идетъ—потерли-красоту (Ш., 2152).

¹⁾ Ш.—стр. 345, 2 стб.

²⁾ Ш.—стр. 352, 1 стб.

Принимая во вниманіе, что „красотою называется повязка изъ парчъ, съ позументами и лентами“, и что „эту повязку носятъ (носили прежде) дѣвушки въ праздничное время на гуляньяхъ и въ хоровахъ“¹⁾, мы должны сблизить эту красоту, съ которой иногда отождествляется и воля, съ дѣвичьимъ вѣнкомъ. Это сближеніе тѣмъ вѣроятнѣе, что воля-красота явно имѣетъ близкое отношеніе къ растеніямъ,—мы выше неоднократно указывали, что невѣста относитъ ее то къ деревьямъ, то къ цвѣтамъ и травамъ²⁾. Значитъ, какая-то связь существуетъ: но этого еще мало,—въ одной нѣснѣ можно прямо видѣть, что вѣнокъ и повязка одно и то же:

Почернѣлъ на головушкѣ,
Золотой вѣнокъ,
Алы ленточки... (Ш., 1795).

При этомъ, собиратель къ словамъ „золотой вѣнокъ“ дѣлаетъ выноску: „Лента съ газомъ: ее носить въ Псковскомъ уѣздѣ всякая дѣвица крестьянка“. Вообще, несомнѣнно, что вѣнокъ стоитъ въ связи съ дѣвичьимъ головнымъ уборомъ. „Золотымъ“ онъ называется, вѣроятно, для обозначенія его цѣнности, какъ эмблемы дѣвчества: мы видѣли нѣсколько выше, что изъ луговыхъ цвѣтовъ дѣвицы вьютъ „золотой“ вѣнокъ.—Такова символика вѣнка и таковы нѣкоторые обычаи, связанные съ ней. Какъ образовалось его значеніе, мы не можемъ сказать, но, повидимому, оно опирается на какія-то реальныя основанія, на что указываетъ существованіе въ народѣ до сей поры повязокъ-коронокъ, изображающихъ дѣвичью волю-красоту. Реальность основаній, давшихъ начало символикѣ вѣнка, подтверждается устойчивостью ея значенія и тѣмъ широкимъ распространеніемъ ея среди родственныхъ народовъ, которое дало ей возможность проникнуть, вмѣстѣ съ народными мотивами, даже въ литературныя произведенія. Напримѣръ, въ послѣдней сценѣ первой части „Фауста“ Маргарита говоритъ:

Nah war der Freund, nun ist er weit;
Zerrissen liegt der Kranz, die Blumen zerstreut.

Въ заключеніе, мы должны коснуться еще нѣсколькихъ вопросовъ, которые помогли бы намъ составить себѣ общій взглядъ на отлични-

¹⁾ Ш.—стр. 650, 1 стб.

²⁾ Ш.—1667, стр. 509, 2 стб.

тельные черты симполикъ великорусской. У каждаго народа и каждой страны въ ихъ творествѣ—а потому, и въ символикѣ—есть свои особенности, и на это необходимо обратить вниманіе. Отъ чего зависятъ эти особенности? Выяснить подробно этотъ вопросъ мы не будемъ, а ограничимся только необходимыми для нашей задачи замѣчаніями. Несомнѣнно, что на созданіе тѣхъ или другихъ символовъ вліяеть окружающая народъ обстановка. Въ самомъ дѣлѣ, символъ есть представленіе особаго рода, но всегда представленіе внѣшнее,—значить, оно отражаетъ въ себѣ дѣйствительность, окружающую народъ: вѣдь, даже воображаемая представленія (например, представленія никогда несуществовавшихъ чудовищъ) въ основѣ своей имѣютъ извѣстные реальные образы. Но разъ это такъ и разъ символъ — представленіе внѣшнее, то, слѣдовательно, въ немъ нужно искать тѣхъ образовъ, которые народъ получаетъ извнѣ. Отсюда громадное вліяніе всего окружающаго на символику: житель сѣвера, имѣя извѣстныя воспріятія, создаетъ изъ нихъ образы, которыми и символизируетъ то или другое представленіе, оказывающее вліяніе на его чувство; такъ же поступаетъ и житель юга, по его воспріятія совсѣмъ другія, сравнительно съ воспріятіями сѣверянина, а потому—являются и другіе образы. И не только самые образы, но и преобладающій характеръ ихъ—свѣтлый или мрачный—зависитъ отъ дѣйствительности, среди которой они создаются. Это, конечно, справедливо и по отношенію къ символикѣ великорусской. Она тоже имѣетъ свои отличительныя особенности, для выясненія которыхъ и нужно хоть въ самыхъ общихъ чертахъ сравнить ее съ символикѣю малорусской, что мы и попытаемся сдѣлать, пользуясь для этой цѣли работой Костомарова ¹⁾.

И въ великорусскихъ, и въ малорусскихъ пѣсняхъ мы находимъ одинаковыя символическіе образы: калина, береза, дубъ и много другихъ растеній появляются какъ здѣсь, такъ и тамъ; повторяются цѣлыя символическія картины съ незначительными измѣненіями, и эта устойчивость и всеобщность многихъ образовъ очень характерны для символики: онѣ указываютъ на то, что происхожденіе ея обусловлено строго опредѣленными психическими процессами и извѣстными возрѣвіями народа на міръ и себя. Но между символиками отдѣльныхъ областей (климатическихъ, языковыхъ и т. п.) необходимо должна быть и разница: поэтому, и нужно указать на отличительныя

¹⁾ Истор. знач. южн. русск. пѣс. творч., Вестъдъ 1872 г.

чорты великорусской символики, сравнительно съ малорусской: съ одной стороны, мы встрѣчаемъ въ ней новыя картины съ новыми образами, а съ другой — видимъ исчезновеніе образовъ, очень распространенныхъ въ поэзи малорусской. Дѣйствительно, растительность юга и сѣвера Россіи представляетъ значительную разницу, которая должна была отразиться и на символигѣ растений. Роза, напримѣръ, судя по статьѣ Костомарова, очень часто встрѣчается въ южно-русскихъ пѣсняхъ, тогда какъ въ великорусскихъ ея употребленіе въ качествѣ символа очень незначительно: мы уже указывали, что причина этого кроется въ условіяхъ жизни сѣвера. Зато здѣсь мы встрѣчаемся съ рябиной, черемухой и смородиной въ качествѣ символовъ, тогда какъ среди разобранныхъ Костомаровымъ малорусскихъ символовъ онѣ не упоминаются. Ихъ отчасти замѣняетъ яворъ—символъ очень употребительный въ южномъ творествѣ и совсѣмъ исчезающій въ сѣверномъ. Что касается до лавра и кипариса, о которыхъ Костомаровъ не говоритъ ни слова, то мы уже и раньше говорили, что это для русскихъ людей лишь названія, не ассоціирующіяся съ опредѣленнымъ растеніемъ; а это ясно указываетъ, что они занесены къ намъ извнѣ. Можетъ быть, поэтому Костомаровъ ихъ и не касается. Полукустарникъ рута, такъ часто встрѣчающійся въ южно-русскихъ пѣсняхъ, у насъ является, какъ говорилось, очень рѣдко: это объясняется тѣмъ, что рута растетъ „только въ Крыму“¹⁾. Барвинокъ, который, по словамъ Костомарова, въ малорусскихъ пѣсняхъ „занимаетъ первое мѣсто“, въ великорусскихъ встрѣчается подъ именемъ „борвеночки“, или „баравеночки“, только въ слѣдующихъ стихахъ, повторяемыхъ всего въ двухъ-трехъ вариантахъ:

А у квіточки съ баравеночки:
Первая квіточка Гагуля,
Вторая квіточка Петруня (Ш. 2101).

Кромѣ Курской губерніи, наполовину малорусской, мы не нашли нигдѣ больше упоминанія о барвинкѣ. Кстати скажемъ, что въ ботаникѣ барвинкомъ называется *Vincæ Minor*, „вѣчнозеленый кустарничекъ“²⁾, а не травянистое растеніе, какимъ онъ является у Костомарова; растетъ онъ „въ юго-западной и южной Россіи“. Съ другой стороны, въ великорусскихъ пѣсняхъ осока занимаетъ довольно по-

¹⁾ Э. Постель. Для бот. эвск.

²⁾ Гобманъ, Ботан. атласъ.

четное положеніе среди мрачныхъ образовъ, а въ малорусскихъ она, видимо, не играетъ выдающейся роли. Да оно и понятно: болота—достояніе, главнымъ образомъ, Великороссіи, а осока ихъ особенно любить. Вообще, какъ нетрудно видѣть, народъ для своихъ образовъ беретъ въ большинствѣ случаевъ то, что имѣетъ передъ глазами, и то, что его поражаетъ какимъ-нибудь своимъ качествомъ. Поэтому-то, растенія, чаще встрѣчающіяся въ извѣстной мѣстности, чаще являются тамъ и символами. Исключеніе составляетъ, кажется, и для малорусскихъ, и для великорусскихъ пѣсень липа, которая, несмотря на большую распространенность въ лѣсахъ и на широкое примѣненіе въ хозяйствѣ, въ качествѣ символа употребляется довольно рѣдко: можетъ быть, это обуславливается именно ея большимъ реальнымъ значеніемъ и тѣмъ еще, что у нея нѣтъ особенныхъ, рѣзко подчеркнутыхъ свойствъ, которыхъ бы не было у другихъ деревьевъ.

Приглядываясь къ общему характеру великорусской символики, мы сразу же замѣтимъ, что образы печали, горя, несчастья—образы мрачныя—преобладаютъ надъ свѣтлыми. Даже эти послѣдніе во многихъ случаяхъ измѣняютъ свое первоначальное значеніе въ пользу грустнаго. И это опять-таки объясняется условіями жизни сѣвера. Не касаясь событій исторической жизни народа, которыя, конечно, тоже имѣли вліяніе на общій характеръ народной поэзіи, мы должны указать на вліяніе климата и природы. Костомаровъ замѣчаетъ, что лѣсни „южно-русскія гораздо богаче великорусскихъ“; вѣрнѣе было бы, пожалуй, сказать, что онѣ ярче, свѣтлѣе по своимъ образамъ. И это вполне естественно: климатъ болѣе мягкій; цвѣтущая природа, щедро награждающая человѣка за малѣйшій его трудъ; яркость красокъ во всемъ, что его окружаетъ,—все это заставляетъ творческую мысль народа двигаться интенсивнѣе, заставляетъ создавать образы яркіе и разнообразныя. Не то мы видимъ на сѣверѣ: здѣсь климатъ суровый, налагающій свой отпечатокъ и на природу, и на людей; жизнь, наполовину въ сумеркахъ и темотѣ, не даетъ яркихъ картинъ,—все покрыто прозрачной, сѣрватою пленкой, сквозь которую всѣ свѣтлыя краски кажутся блѣднѣе, образы однообразнѣе, но зато темныя—сгущаются еще больше, и образы мрачныя выступаютъ рельефнѣе изъ общаго туманнаго фона; самое веселье здѣсь какъ-то подернуто дымкой печали: оно является какимъ-то неполнымъ, является мыслью о чемъ-то болѣе совершенномъ; здѣсь, на сѣверѣ, мы видимъ постоянную борьбу человѣка со стихіями, борьбу за кусокъ насущнаго хлѣба—за существованіе. Чувство нерѣдко подавляется вопросомъ

о завтрашнемъ днѣ, и нѣтъ ничего удивительнаго, что это отражается въ тѣхъ пѣсняхъ, гдѣ, казалось бы, нѣтъ мѣста матеріальнымъ соображеніямъ, гдѣ должны были бы выражаться чувства въ ихъ гармоничной полнотѣ; вмѣсто чувства, мы видимъ какой-то странный расчетъ, какую-то двойственность чувствъ ¹⁾. Особенно это поражаетъ въ пѣсняхъ похоронныхъ; когда умираетъ хозяинъ дома, со смертью котораго исчезаетъ главный кормилецъ семьи, жена его причитаетъ надъ нимъ такъ:

Придетъ лѣтечко красное,
И пойдутъ люди добрые
Со босами со острыми,—
Не будетъ у насъ бѣдныхъ
Ни денного работничка,
Ни ночного попечельничка! (III., 2507).

Въ плачъ матери по единственному сыну отмѣчается тоже чисто матеріальная потеря:

И надѣлалася, бѣдная,—(что)
Отъ рожиного-то дитятка
Буде хлѣбъ-соль мнѣ прострѣнная (довольная),
Буде крѣпкая надѣтушка (одежда),
Буде легка переѣнушка.
Буде печенька-то теплая (III., 2519).

Немало еще можно отмѣтить подобныхъ мѣстъ въ погребальныхъ пѣсняхъ. Ихъ кажущаяся странность является вполне естественнымъ слѣдствіемъ того положенія, въ которомъ находится народъ: она вытекаетъ изъ постоянной заботы о пропитаніи и безпрестанной борьбы съ суровой природой. Въ этихъ пѣсняхъ, гдѣ подъ вліяніемъ обстоятельствъ рѣзко затрагивается вопросъ о матеріальномъ благосостояніи, замѣчается большая скудость символическихъ образовъ: творчество какъ бы становится на реалистическій путь.

Изъ всего этого ясно, что великорусская народная поэзія, находясь подъ давленіемъ суровой окружающей дѣйствительности, не можетъ дать тѣхъ яркихъ и разнообразныхъ картинъ, которыя даетъ поэзія малорусская; понятно и то, что она, отражая жизнь, полна образовъ горя и страданія, тогда какъ радости и счастья удѣляется сравнительно незначительное мѣсто. Этимъ же грустнымъ характеромъ про-

¹⁾ Прекрасно подмѣтить это явленіе Тургеневъ въ одномъ изъ своихъ „Стихотвореній въ прозѣ“ („III“).

никнута, разумѣется, и символика великорусскихъ пѣсенъ; имъ принята и ихъ музыка—ихъ мотивы: „молльная тональность“, по словамъ Шопенгауэра, „является безошибочнымъ знакомъ горя, и у народовъ, которые ведутъ тяжелую и угнетенную жизнь, какъ напримеръ русскіе, является преобладающею“¹⁾. Такимъ образомъ, символика, вообще говоря, находится въ органической связи съ жизнью и творчествомъ народа, и на этомъ зиждется ея важное значеніе для науки. Изученіе различныхъ вѣрованій народа и связанныхъ съ ними обычаевъ и обрядовъ, изученіе языка, наконецъ, самое пониманіе пѣсенъ и другихъ произведеній народнаго творчества—очень часто (но, конечно, не всегда) должно быть поставлено рядомъ съ изученіемъ народной, безыскусственной символики.

Я. Автамоновъ.

¹⁾ К. Фишеръ, „Арт. Шопенгауэръ“, стр. 364.